

The background of the entire cover is a vibrant, golden-yellow sky. A brilliant sunburst is positioned in the lower right quadrant, with rays of light radiating upwards and outwards, illuminating the scene. The sky is filled with soft, billowing clouds that catch the light, creating a sense of depth and texture. The overall color palette is warm, dominated by shades of gold, orange, and yellow.

Наталья Струтинская

СВОД НЕБЕС

16+

Наталья Струтинская

Свод небес

«ЛитРес: Самиздат»

2018

Струтинская Н.

Свод небес / Н. Струтинская — «ЛитРес: Самиздат», 2018

В жизни Марфы Катрич, молодой жены архитектора, кажется, есть все, чего только может желать женщина, однако ее брак нельзя назвать счастливым. Чтобы развеять тоску, Марфа отправляется в комфортабельный пансионат, расположенный в горах. Однажды постояльцам пансионата предлагают совершить небольшое путешествие в горы на вертолете. Однако по пути к конечному пункту происходит поломка вертолета, и пилот вынужден приземлиться на вертолетную площадку заброшенной базы отдыха, в которой около пяти лет назад пропала группа людей...

Содержание

Часть 1	6
I	6
II	14
III	26
IV	34
V	39
VI	48
VII	55
VIII	59
IX	65
X	75
Конец ознакомительного фрагмента.	76

© Струтинская Н.В.

© В оформлении обложки использована фотография Струтинской Н.В.

Вот потому, что я тогда был безумцем, я стал мудрым ныне. О ты, философ, не умеющий видеть ничего за пределами мгновения, сколь беден твой кругозор! Глаз твой не способен наблюдать сокровенную работу незримых человеческих страстей.

Иоганн Вольфганг фон Гёте

*По небосводу, за холмом,
Ступая поступью широкой,
Проходит день – не виден он
Всенеобъемлющему оку.
И только пенистый прилив,
Заливший облака пурпуром,
Явится взору в час зари,
Вечерним облаком ликуя.*

*Закат окрасит небосвод
То в терракотовый, то в сизый,
Бросая его в жар золот
И в холод ночи темноризой.
Явится взору грез печаль
И память вешняя бывшего –
И станет прошлого не жаль,
И станет будущее голо...*

*Но ночь обнимет небеса,
Сокроет наготу эфира,
Сплетет жемчужин волоса
В путей струящиеся лиры.
И желтоглазая луна
Осветит взором поднебесье:
В неге склонив ресницы сна,
Она опустится к полесьям.*

*Но час зари неумолим:
Укроются поля росой,
Тьма превратится в серый дым
И мир откроется вновь взору.
Распустят косы небеса,
Падет обманчивость бывшего,
И будущего голоса
Наперебой провозгласят день новый.*

Наталья Струтинская

Часть 1

I

Небо, еще нежно-голубое, медленно покрывалось дымчато-розоватыми перьями заката. В просветах между расплывчатыми штрихами облаков просматривался высокий прозрачно-голубой куполообразный небосвод, который постепенно заворачивался в терракотовый кокон отблесков затухающего дня. Ближе к основанию, где еще виднелась бронзовая глазница светила, небо уже густо покрылось гранатовым джемом, что ровной линией растекался по самому горизонту.

Отблески заката коралловой пеной струились по кремовым тюлям, сбегаящим к самому паркетному полу. Тюли были отдернуты, светлые рамы высоких окон распахнуты настежь, и в спальню, погруженную в полумрак, просачивались карамельные дорожки света. Тюли ни разу не шелохнулись от неосторожного прикосновения легкого порыва теплого июльского воздуха; ветра не было – в природе царило ожидающее безмолвие, будто вот-вот произойдет какое-то неведомое, но такое желанное чудо.

Минута, две – и медная зарница светила утонула в джеме густых облаков. Дорожка света на паркетном полу стала как будто бледнее, а тюль едва надулся, потревоженный рукой безмолвного дыхания земли. Солнце миновало рубеж тени, и теперь провожавшие его облака стали расползаться по небосводу, торопливо скрывая от глаз нежно-голубые пятна прошедшего дня.

Большой каменный трехэтажный дом, с распахнутыми ставнями и безмолвно темневшими проемами окон, возвышался на небольшом пригорке, отчего казался выше и шире, чем был на самом деле. Из окон, выходящих на подъездную площадку перед домом, просматривалась длинная улица подмосковного коттеджного поселка, окруженного живописными рощами, за которыми, чуть в стороне, находились голубые озера, где весной и летом галдели рыжие утки.

Над входом в дом горел желтый шар фонаря; окна дома были темны, и только по распахнутым настежь створкам можно было понять, что в доме кто-то есть.

Улица поселка была ярко освещена; за высокими каменными и металлическими заборами стояли двух- и трехэтажные дома, с ровными зелеными газонами вокруг каменных и деревянных стен, с садами, в которых росли молодые деревца, и аккуратными, стройными елочками у автоматических ворот и резных перил. Дом на холме возвышался над всеми домами улицы, хотя не был ни больше других, ни вычурнее, а был даже, в сравнении с некоторыми, скромней и сдержанней. Но расположение его и какая-то простая, несложная, изысканная в своей простоте форма его придавали ему вид внушительный и главенствующий.

Комнаты дома были просторными, оформление их во французском стиле создавало атмосферу уюта и достатка, а спокойные бежевые и белые тона приносили ощущение широты пространства и наполненности комнат светом и воздухом. И даже погруженные в сумерки комнаты оставались светлы и нескучны.

Когда свет заката, что лился в спальню через раскрытое окно, выходящее ровно на запад, стал меркнуть и пестрое поле в прямоугольнике окна, широкой ладонью пролегающее до самого горизонта, совсем скрылось в сумеречном свете наступающей ночи, Марфа Катрич включила маленький ажурный светильник, стоящий на туалетном столике. Спальня сразу осветилась мягким золотистым светом; из темноты выступили широкая кремовая кровать ручной ковки, небольшие тумбы со стоявшими на них светильниками, глубокое светлое кресло

напротив раскрытых высоких окон, за которыми просматривался крученный поручень балкона, и руки, покоившиеся на поверхности туалетного столика: округлые пальцы с наманикюренными короткими ноготками, далекие от изящества, довольно пухлые запястья и обручальное кольцо, выпуклое, широкое, как будто придававшее руке всегда отсутствовавшую в ней тонкость. Марфе никогда не нравились свои руки, с бесформенными ногтями и прямыми, совершенно лишенными всяческих изгибов запястьями, а с замужеством, которое наполнило ее жизнь сытыми обедами и поздними утратами, в них появилась еще и какая-то непонятная полнота, которая, по мнению Марфы, сделала их совсем безобразными.

Сняв с пальца обручальное кольцо, Марфа положила его рядом с круглой баночкой с кремом. Взяв баночку, она открыла крышку, с недовольством обнаружив, что баночка с кремом была полупуста. Положив крышку наружной стороной рядом с баночкой, Марфа коснулась густой белой массы средним пальцем правой руки и нанесла крем на тыльную сторону ладони. Палец заскользил по чистой смуглой коже кисти левой руки. Гладкая, натянутая, кожа заблестела в рассеянном свете светильника. Равномерно распределив крем по кистям обеих рук, Марфа взяла крышку и соединила ее с резьбой у ободка баночки. Закрутив крышку, Марфа отставила баночку с кремом на прежнее место и взяла со столика обручальное кольцо. Надевая кольцо на палец, Марфа вдруг подумала о том, что уже давно не была никому женой.

В гостиной, что располагалась на первом этаже, на высоком деревянном комод стояло множество фотографий, на которых были запечатлены счастливые улыбающиеся лица молодого круглолицего мужчины, с чуть раскосыми глазами цвета темного лесного ореха, темно-волосого, с густой шевелюрой на макушке, и совсем еще юной женщины, с ямочками на детски пухлых щеках, янтарного цвета глазами и пепельно-русыми прямыми густыми волосами, которые чаще всего были собраны в низкий хвост, что, к слову, очень шел ей. Если бы не ямочки на щеках, когда губы вдруг растягивались в улыбке, и не глубокий, какой-то неестественный и завораживающий цвет глаз, женщину нельзя было бы назвать красивой. Мальчишеская фигура ее не имела пленительных форм, взгляд не был притягателен, и только улыбка, широкая, искренняя, служила главным украшением ее лица, без которого оно выглядело серьезным, сосредоточенным, почти строгим. Но на фотографиях, выставленных на комод, женщина улыбалась, и ямочки и янтарные глаза играли на ее лице, делая его обворожительным.

Мужчине же на вид можно было дать около тридцати пяти лет. Лицо его уже тронули первые морщинки, кисти рук, которыми он держал на одной из фотографий поводья лошади, на которой, выпрямив спину и улыбаясь, восседала его жена, были крепки и широки, а вся фигура его – подтянута и жилиста, но далека от худобы.

Стояли ли муж и жена у берега таежной реки, катались ли на лошадях или были сфотографированы собою же – на всех фотографиях они выглядели счастливыми и влюбленными друг в друга и в саму жизнь. Как и сам дом, в котором стоял этот комод с фотографиями, производил впечатление чего-то правильного, безупречного, а оттого вызывающего уважение, а в некоторых и зависть, так и сами эти фотографии в чистой, до мелочей прибранной и изысканно обставленной гостиной вызвали ощущение успешности жизни изображенных на них людей, правильности ее и счастливости. Таковой – успешной, красивой и счастливой – принято было считать семью Катричей.

Так принято было думать и в самой этой семье.

Марфа была воспитана в семье добропорядочной и не терпимой к недобропорядочности других. В чем именно заключается добропорядочность человека, Марфа с трудом могла бы сформулировать, однако в ее семье всегда считалось, что без хорошего образования и воспитания ни о какой добропорядочности не могло быть и речи. Мать Марфы, Дербина Алексина Тимофеевна, воспитывала своих детей в лучших традициях классического воспитания – оба брата Марфы, как и ее младшая сестра, окончили главный университет столицы, были

людьми, не лишенными амбициозности и некоторой доли эгоизма, который, как всегда утверждала Алексина Тимофеевна, только помогает людям добиваться успеха. Отец Марфы, Кирилл Георгиевич, успешный хирург, поддерживал стремление жены воспитать в детях честолюбивые ориентиры, не скупясь на похвалы их успехов и сдержанную укоризну в отношении их небольших поражений. Так, имея твердую основу из честолюбивых стремлений матери и примера успешного, умного отца, дети Дербиных были лучшими на своих курсах и блестяще окончили университет.

Марфа по окончании курса филологического факультета, к великой радости матери и гордости отца, почти сразу же вышла замуж за архитектора Филиппа Катрича, состоятельного и образованного, бывшего на шесть лет старше ее. Партия эта, по мнению Алексины Тимофеевны, была наиболее удачным исходом юности ее дочери, которая к тому же была менее красива, чем младшая Агриппина. Так, устроив пока еще холостых своих сыновей (они работали в ведущих компаниях Москвы) и старшую дочь, все заботы Алексины Тимофеевны свелись теперь к устройству благополучной судьбы двадцатидвухлетней Груши. Под «благополучной судьбой» женщины Алексина Тимофеевна всегда понимала удачный брак, потому как считала, что судьба женщины – ее муж. Счастье же мужчины, по мнению Дербиной, состояло в достижении успеха в выбранной им профессии. К тридцати годам оба ее сына занимали ведущие должности в крупных столичных компаниях, поэтому на данном этапе Алексина Тимофеевна считала их вполне устроившимися в этой жизни, допуская теперь возможность их женитьбы на достойных и, несомненно, благовоспитанных девушках из хороших, полных семей.

Несмотря на всю благополучность семьи Дербиных, стремление матери и отца воспитать в детях чувство собственного достоинства, основанное, однако, на сравнении своего успеха с успехом другого, а также несмотря на все их усилия взрастить в их душах гордость и жадность познания, которые помогли бы им стать людьми, сильными духом и мыслью, с Марфой до ее удачного замужества случился все-таки небольшой конфуз.

Самая тихая и робкая из всех детей, Марфа представлялась матери замкнутой и нерешительной, и эти качества дочери Алексине Тимофеевне казались катастрофически опасными как для Марфы, так и для нее самой, не допускавшей возможности неустроенности хотя бы одного своего ребенка. Марфа никогда не проявляла ни упрямства, ни стремления превосходства над другими, а просто молчаливо и трудолюбиво выполняла все возложенные на нее властной рукой матери обязательства, чем часто раздражала Алексину Тимофеевну, уважавшую в людях силу духа, основанную на умении отстаивать свою точку зрения и как можно реже идти на компромисс, не подкрепленный исчерпывающими и основательными аргументами. И когда однажды Марфа проявила долгожданную и в то же время неуместную решительность, то Алексина Тимофеевна впервые почувствовала, как теряет контроль как над самой собой, так и над ситуацией, которая неожиданно совершенно выбила ее из привычного, устроенного распорядка жизни.

Случилось это неожиданное и так всколыхнувшее все семейство Дербиных событие в две тысячи десятом году. Марфе как раз исполнилось двадцать три года. Быстро приближалось время выпускных государственных экзаменов и защита диплома, однако на повестке дня были вовсе не многочисленные разговоры о скором окончании университета старшей из дочерей. Говорили большей частью о ее безрассудной и неприличной связи с неким Юрой Мелюхиным.

Когда Марфа, однажды вернувшись из университета, на удивление живая и сияющая, мельком упомянула о том, что в их потоке появился новый студент, приехавший учиться в Москву из какого-то маленького сибирского городка, никто из членов семьи на это известие не обратил совершенно никакого внимания. Обыкновенная, ничем не примечательная, пустая новость, которая для Марфы в то время была едва ли не самой значимой за всю ее жизнь.

Впервые в ее бессодержательной душе зародилось что-то предметное, форменное, многогранное. Жизнь ее вдруг в мгновение перестала быть только разделением на полезные и бесполезные вещи, перестала быть дробью, а стала целостной частью неразделимого мира.

Марфа все чаще говорила о Мелюхине, сама не замечая этого. Он представлялся ей самым чудесным, красивым, остроумным молодым человеком из всех, кого она знала. Алексина Тимофеевна поначалу даже была довольна тем, что дочь стала проявлять повышенный интерес к своему внешнему виду, хотя до этого одевалась машинально, пусть и со вкусом, привитым ей матерью. Дербина не видела ничего дурного в том, что у дочери наконец появился стимул к тому, чтобы почувствовать себя женщиной, красивой и желанной. Но Марфа, вопреки домыслам матери, не чувствовала себя ни красивой, ни тем более желанной. Статный Мелюхин едва ли обращал внимание на незатейливо сложенную Марфу, которая ничем не выделялась из общей массы девушек факультета. Они подружились, однако Мелюхин, коммуникабельный, харизматичный молодой человек, едва ли имел какие-либо намерения относительно Марфы – они хорошо общались, и только. Тогда Марфа решилась на шаг, который совершенно противоречил всему тому, чему учила ее мать, – Марфа решила признаться Мелюхину в любви.

Она написала письмо, сочтя его истинным и трогательным жестом любящего, пылкого сердца. В письме своем она в красках описала все одолевающие ее чувства и почему-то просила за них у Мелюхина прощения, хотя смутно понимала, что извиняться ей не в чем и ничего постыдного в ее любви нет. Марфа исписала несколько черновиков, прежде чем получилось полное и удовлетворившее ее письмо.

Незапечатанный конверт с письмом на следующий же день был вручен Мелюхину лично в руки – несмотря на свою сдержанность, Марфа отличалась смелостью – с просьбой прочитать письмо в одиночестве. Вернувшись в тот день домой, Марфа была встречена гневным и ошеломленным взглядом матери, нашедшей в столе дочери черновики ее любовного признания. С того дня Марфа зареклась никогда не оставлять после себя вещественных доказательств какого-либо из своих действий, чтобы никому не давать возможности в дальнейшем манипулировать собой.

Мать трясла исписанными листами у самого лица Марфы, которое в первое мгновение приняло выражение испуга и обиды, а потом сделалось совершенно бесстрастным, и гневно кричала что-то о нравственности, гордости и пошлости. Быть может, если бы Мелюхин принадлежал полной, обеспеченной семье, Алексина Тимофеевна иначе бы отреагировала на действие дочери. Но Юра Мелюхин, к еще большему ужасу Алексины Тимофеевны, был не только из неполной семьи, воспитанный одною разведенной матерью, но еще и из семьи несостоятельной и, как выражалась Алексина Тимофеевна, «необразованной», потому как Юра был первым, кто получал в роду Мелюхиных высшее образование, руководствуясь исключительно своими знаниями и способностями, а не помощью связей своего отца или наставлениями маменьки. Таким образом, к вечеру того дня Алексина Тимофеевна слегла с головной болью и расстроенными нервами, совершенно обескураженная и оскорбленная проявленным дочерью несообразным своеволием.

Марфа же, пристыженная матерью, не испытывала ни стыда, ни раскаяния в содеянном. Она была совершенно уверена в том, что поступила правильно, потому как чувствовала, что с переданным Мелюхину письмом исчезла вдруг каменная, сковывавшая грудь тяжесть, которая все больше возрастала в ней и привела ее к мысли о признании.

На следующий день Мелюхина в университете не было, но на другой день, когда волнение уже несколько улеглось в душе Марфы, Мелюхин пришел и, к необычайной ее радости, сам подошел к ней после лекции и предложил пройти по небольшому скверу напротив университета.

Стояла середина апреля. Погода была ясная, солнечная. Яркий аромат весны исходил от согретой на солнце молодой листвы и пробивавшейся из непрогретой, еще сырой земли зеле-

ной травы, что тонкими слабыми волосками подымалась над сухими прошлогодними колосками веток.

Марфа в своем письме не просила у Мелюхина ответа, однако предложение его и весь его вдохновенный вид говорили ей, что он даст ей ответ, который Марфа все-таки ждала.

Остановившись посреди сквера, Мелюхин, светловолосый, голубоглазый, белолицый, обернулся к Марфе и посмотрел на нее взглядом восхищенным и впечатленным. А Марфа, поймав на себе этот его взгляд, сразу же прочитала ответ, которым были полны губы, глаза, вся поза Мелюхина. Да, он действительно был тронут письмом, он принял этот ее порыв и понял его, и он готов, да, он готов найти в себе ответ ему. Но он просил времени – какого, Марфа до конца не понимала тогда. Он просил подождать – чего? Но Марфа робко и послушно внимала его словам и была согласна ждать сколько угодно. И с того дня для Марфы началась самая прекрасная пора в жизни – пора первой, самоотверженной, глухой влюбленности и слов, которые никогда больше не повторяются...

Но ослепленное блеском весны и удовольствия, противостоянием предрассудкам родителей и собственным предубеждениям счастье Марфы длилось недолго, – наступил июнь, а вместе с ним пришли выпускные экзамены и защита диплома, после которых Мелюхин засобиравшись возвращаться домой. Марфа узнала об этом случайно, от одной своей университетской приятельницы, и так была поражена этим известием, что едва не лишилась чувств от потрясения. Она не преминула расспросить обо всем самого Мелюхина, и тот, как будто печально улыбаясь, подтвердил справедливость слухов. Он уезжает, и тут уже другого пути нет.

Именно тогда, одолеваемая смятением, надеждой и отчаянием, Марфа познакомилась с Катричем.

Это случилось в ясный и безоблачный день июня. Погода стояла жаркая, сухая и безветренная. После короткого разговора с Мелюхиным, состоявшегося по окончании одного из экзаменов, Марфа не поехала сразу домой, решив, что осуждающий взгляд матери только усугубит ее душевные терзания, а вышла на одной из станций метрополитена и поднялась в город. Она медленно двинулась по узким московским переулкам, где от стен домов отлетал мерный стук трамвайных колес.

Скоро Марфа вышла к высоким краснокаменным стенам монастыря, возвышавшимся на небольшой насыпи. В широком арочном проеме входа на территорию монастыря тяжелые ворота с массивными засовами и замками были раскрыты, и в проеме этом просматривалась мощеная дорожка, взбегавшая на небольшой холм и кривыми змейками аллея расползавшаяся по холмистой территории. Чуть в стороне, на пригорке, стоял собор, величественный, но обветшалый. За собором зеленели дубы и просматривались какие-то каменные, покрытые мхом и посеревшие от времени строения.

Собор, судя по лесам у одной из стен, находился на реставрации, однако территория его была открыта для посещения.

Здесь, за высокими стенами, почти совсем не было слышно шума Москвы, что гремела за высокой аркой. Марфу привлекла эта тишина, безмолвием перешептывавшаяся в высокой зелени верхушек дубов.

Пройдя по одной из аллей, Марфа вышла к каменным строениям, которые оказались усыпальницами. За храмом находился некрополь монастыря. На старых, покрытых мхом каменных надгробиях, датированных восемнадцатым-девятнадцатым веками, значилось много известных аристократических фамилий. Марфе вдруг подумалось, что под каждой полуразрушенной плитой лежит целая история жизни, полная страсти, надежд и веры, без которых не может жить человек. А теперь от этих надежд и чаяний не осталось ничего, а только фамилии и даты, которые так же, как и тысячи других, когда-нибудь сотрутся временем и событиями и канут в небытие. А если все так, подумалось Марфе, то какой же смысл в страсти, отравляющей свободное дыхание юного сердца, в надеждах, которые зарождает одно только неосторожное

слово, сказанное только лишь ради самого ответа, но не несущее в себе совершенно никакого смысла? А если нет его, этого смысла в терзаниях, чаяниях и надеждах, если все кончается только каменным надгробием, которое скоро покрывается вот таким густым темным мхом, то, верно, и смысл всей жизни становится именно таким, каким мать всегда представляла Марфе, – чтоб получше устроиться в жизни, окружить себя благами, которые облегчают неизбежные телесные страдания, и получать наслаждение от форм, оболочек и составляющих осязаемый мир вещей, а не искать смысл бытия в бесформенных очертаниях бесплотных надежд, которыми полнится сердце. Все тогда становится много проще и понятнее, все объясняется тогда, и не будет тогда больше этих тугих и давящих узлов, от которых перехватывает дыхание, – нужно только поддаться течению жизни, использовать возможности, которые приносит бурный поток, и воспитать в себе гордость, которая защищает от всякого рода унижений и обид.

Марфа медленно шла по дорожке, приближаясь к кирпичной стене, ограждавшей территорию монастыря по периметру. Здесь, в самой стене, были и старые, полуразрушенные, не отреставрированные еще башни, на которых уже выросли молодые, еще совсем маленькие и тонкие березки.

У стены, в тени высокого дуба, стояла широкая скамейка. Марфа, утомленная долгой прогулкой и одолевающими ее противоречивыми чувствами, опустилась на нее, чтобы отдохнуть.

Здесь было совсем тихо. Казалось, нет ни толпы людей, ни самого города, кипевшего за стеной. Посмотрев направо, Марфа увидела чуть в стороне небольшой яблоневый сад, отгороженный сеткой. Все пребывало здесь в какой-то необъятной, необъяснимой гармонии: прошлое, будущее, жизнь и смерть и мир, окруженный хаосом.

Марфа почувствовала слабое онемение в ногах – мозаика проникавшего сквозь густую листву деревьев света, щебетание перелетавших с ветки на ветку птиц словно гипнотизировали сознание, сердце билось мерно, едва постукивая в груди, а взгляд был опущен в нег теплое и мирного летнего дня. Мысли сами собой исчезли, сомнения и страхи больше не сменяли друг друга, рождая во встревоженном воображении пестрые картинки, – все исчезло, исчезли вдруг все чувства, и безмятежность полотном укрыла все тело Марфы, все ее существо.

Внезапно боковым зрением Марфа уловила среди пестрых стволов деревьев какое-то движение. Всмотревшись, она увидела, что по аллее от храма идет человек – мужчина, в деловом темном костюме, темноволосый, подтянутый.

Марфа наблюдала за ним, бесстрастно рассматривая его. В сущности, его появление никоим образом не интересовало ее, положительно, как и все, что ее окружало. Марфа всегда жила заботами, которые приносил ей час, в который она жила, не предавая особенно тщательным размышлениям минувшие дни и будущие недели. Неожиданным всплеском было для нее знакомство с Мелюхиным, непредвиденным, незапланированным, случайным мгновением счастья, а теперь снова тоска, которая принималась ею за безмятежность и правильность устройства жизни. За нее все решат, а ей только расскажут, что и как нужно делать. Ничего не нужно додумывать, не нужно допускать излишних, никому не нужных волнений. Все как-нибудь решится само.

Марфа отвела свой взгляд от мужчины в костюме и вновь обратила свой взор на пеструю мозаику света, игравшую на зеленеющей траве.

Несколько раз Марфа поднимала свой взгляд на посетителя. Его одиночное движение среди затаившего дыхание, замершего некрополя невольно привлекало ее взор. Взгляд ее был не то задумчивый, не то безучастный, однако и он, скользнувший однажды по приблизившейся фигуре мужчины, отметил, что мужчина так же время от времени оглядывается на Марфу. Это показалось Марфе как будто неестественным, словно она, сидящая у высокой стены, в тени тянущихся к солнцу раскидистых ветвей дубов, была невидима миру, хотя сама могла наблюдать за ним.

Решив не поднимать больше своего взгляда на посетителя, чтобы не привлекать к себе ненужного ей внимания, она повернулась на скамейке так, чтобы двигавшаяся фигура его не раздражала ее усыпленного негой разгоряченного дня сознание.

Скоро Марфа забыла о посетителе. Она сидела так, слегка опустив веки и прислушиваясь к узорчатому, смешанному щебетанию мелких птиц, которых не было видно, но которые своим звонким пением наполняли каждую ветку каждого дерева.

Просидев так чуть меньше часа, Марфа решила обойти некрополь. Фамилии на некоторых стертых надгробиях казались ей знакомыми, многие принадлежали известнейшим дворянским семействам. Стоя рядом с такими каменными надгробиями, Марфу посещало странное чувство близости ко всей этой исторической значимости, будто она была знакома со всеми этими людьми, будто видела их, и они видели ее, и исчезали сразу всякие рамки времени и классовые различия – все были едины, и общность этого объемного, пространственного восприятия необыкновенно поражала Марфу и успокаивала одновременно.

Марфа ходила по аллеям некрополя, вчитываясь в фамилии и даты, которые на некоторых плитах почти совсем стерлись, и снова заметила движение, на сей раз совсем рядом, в соседнем ряду склепов и памятников. Все тот же мужчина в деловом костюме, но теперь Марфа отчетливо могла рассмотреть его лицо, круглое, внимательное, глаза, какие-то особенно темные, и морщинки у самых уголков губ. Мужчина на сей раз не скрывал своего заинтересованного взгляда, не бросая больше украдкой коротких взглядов, а открыто рассматривая Марфу, будто интересуясь всяким изменением выражения ее лица.

Когда аллеи, по которым они шли, пересеклись, Марфа обернула свое лицо к мужчине и встретила его расположенный, пронизательный взгляд.

– Нигде не думается лучше, чем в окружении уже постигших истину мироздания умов предков, не правда ли? – сказал он голосом мягким и исполненным любезности.

Марфа только широко улыбнулась на эти слова незнакомца, сочтя его внимание к себе обременительным, а покой и безмятежность, овладевшие ею, нарушенными. Марфе всегда требовалось время, чтобы найти с ответом, и зачастую она не утруждала себя этим неудобным поиском нужных фраз и просто улыбалась своей обаятельной улыбкой, при которой ямочки на ее круглых щеках и глаза были особенно хороши. В любое другое время это свойство ее улыбки явилось бы ответом на случайную реплику, брошенную добродушно или же неуместно, однако незнакомца, видимо, не удовлетворил такой ответ, и он продолжил, делая короткий шаг вслед за Марфой:

– Вы в первый раз здесь? – услышала Марфа чуть позади себя все тот же вежливый голос.

– Да. Я зашла сюда случайно, – с неохотой ответила она, однако улыбка ее при этом была все так же ласкова и приветлива, отчего мужчина в костюме воспринял неразговорчивость Марфы за проявление скромности.

– Вы знаете, что именно здесь похоронена княгиня Кац...я? – назвал фамилию известного княжеского рода незнакомец.

И на эту его реплику Марфа улыбнулась, отрицательно покачав головой и подумав вдруг о матери: что бы она сказала, будь она рядом? Как следует правильно отвечать? И почему вдруг ей непременно нужно задавать все эти вопросы? В голове Марфы промелькнула мысль, недовольством отозвавшаяся в ее душе: она ушла от суматохи города, от толпы, ища уединения. Так надо ли говорить с человеком, когда он ходит вот так один? Должно быть, если он захочет с кем-то завести беседу, то пойдет к людям.

Однако незнакомец теперь не отставал ни на шаг, следуя рядом с Марфой и рассказывая ей историю как самого храма, так и некрополя, где покоились большей частью купцы, князья и тайные советники.

Незнакомцем оказался архитектор Филипп Катрич, хорошо сложенный, без особенной привлекательности лица, довольно сдержанный, обходительный молодой мужчина тридцати

лет. Катрич показался Марфе довольно взрослым, уже полноценным мужчиной, и его любезное и участливое к ней внимание несколько пугало ее. Однако она поддалась его настойчивому стремлению поделиться с нею своими знаниями и различными незатейливыми историями, так что позволила ему сводить себя как к могиле княгини Кац...й, так и завести себя в сам главный собор, в котором рабочие как раз укладывали гранитные плиты пола.

Оказалось, что Катрич работает в проектной компании и довольно многие проекты недавно возведенных в столице зданий принадлежат ему. Недалеко от собора, на территорию которого зашла в тот июньский день Марфа, у Филиппа проходила деловая встреча, после которой он и зашел в этот собор.

После долгой прогулки по территории реставрируемого монастыря, а также после короткой экскурсии в самих стенах древнего собора, Катрич поспешно предложил Марфе подвезти ее до дома. Марфа отказалась. Однако Катрич решительно настоял на своем предложении. После недолгих настоятельных уговоров Марфа согласилась, между тем указав Катричу неверный адрес своего дома.

Пройдя от места, где высадил ее Катрич, до дома несколько улиц, Марфа поспела к самому ужину. Мать ничего не сказала ей, однако молчание ее, напряженное, какое-то драматически-вымученное, было красноречивее всяких речей.

Марфа не рассказала матери про Катрича, решив, что встреча эта не имеет особой значимости. Однако, когда Катрич вдруг появился на ее выпускном (в первую их встречу Марфа сказала ему, где учиться), Марфе ничего не оставалось, как представить его своим родителям.

Стоит ли говорить, как преобразилась Алексина Тимофеевна, как повеселело ее лицо, и как исчезла из ее глаз холодность, и как появился в них возбужденный жадный блеск, когда она узнала, кем является Катрич, и подсчитала его приблизительный месячный доход. Кирилл Георгиевич несколько спокойнее воспринял новое знакомство, однако, подстрекаемый женой, не преминул теперь во время семейных обедов заводить полезный, по его мнению, разговор о надобности дальнейшего устройства жизни старшей дочери, утверждая, что «в гнезде засиживаются только никуда не годные птенцы».

Для Марфы, воспитанной на выведенных ее требовательной, не склонной к романтизации матерью аксиомах, опирающихся на материальную почву, лишенную всяческих духовных изысканий, скорое развитие событий, касающихся устройства ее дальнейшей судьбы, никоим образом не затрагивало струн ее аморфной души. Подвластность родительской воле главенствовала в ней над всеми живыми чувствами, и то движение, которое зародил в ее неопытном сердце Мелюхин, служило единственным центром притяжения всего ее духа. Ей казалось, что никогда теперь привязанность эта не исчезнет из нее, никогда не забудутся светлые волосы и голубые глаза, вселившие в ее сердце надежду. И ответ, долгожданный ответ, который так и не был дан ей, теперь всколыхнул в ней не веру в будущность, а стремление убежать, скрыться от того позора, унижения, которые она испытывала при воспоминании о своем импульсивном признании.

Катрич же, нашедший в кротости и немногословности Марфы истинное проявление терпеного женского начала, обнаруживал твердость в своих намерениях и настойчивость в своих действиях. Так, спустя несколько месяцев уступчивых и терпеливых со стороны Марфы и чувственных и страстных со стороны Филиппа встреч, не успев толком познать первой влюбленности, Марфа оказалась на пороге замужества.

II

Первые месяцы брака были для Марфы особенно и, пожалуй, единственно счастливыми за все три года супружеской жизни. В течение этих первых месяцев и были сделаны все те фотографии, которые стояли теперь на комод в гостиной, выставленные там то ли для напоминания об этих счастливых месяцах, то ли для чужих любопытных глаз как свидетельство о благополучном устройстве жизни семьи.

В редкие минуты Марфа предавалась воспоминаниям о тех днях, когда вместе с мужем она просиживала часами в мастерской, что находилась в подвале дома, и лепила вместе с ним глиняные кувшины, горшки, а иногда и целые скульптуры, которые так любил делать в свободные минуты Катрич, находя в этом занятии отвлечение своим утомленным мыслям. Вспоминался ей и смех, и вязкая глина на ладонях, и тепло мужской груди, что прижималась к ее спине. Но теперь все чаще воспоминания эти вызывали в ней отвращение. Она презирала и этот свой смех, и глиняные горшки, и горячее тело мужа, терпеть которое рядом с собой ей становилось все невыносимее.

Марфа вышла замуж без любви.

Надевая на палец стоявшего перед ней сияющего Филиппа Катрича обручальное кольцо, она не понимала всей значимости того события, которое наступило через восемь месяцев после дня вручения дипломов в университете. Венчание же, на котором настоял Катрич, было для Марфы чем-то вроде театрализованного представления, будто она была вовсе не молодой невестой, а второстепенной героиней какого-то многосерийного киноромана. Марфа почувствовала себя женой Филиппа только по окончании всех торжеств, когда он привез ее в дом на холме и когда, оставшись с нею наедине в спальне, он снял с нее подвенечное платье и привлек к себе, покрывая ее крепкими мужскими ласками.

В первые дни супружества Катрич был для Марфы олицетворением силы, которую ей удалось обуздать и которой она владела теперь безраздельно. Катрич относился к Марфе с трепетом, лаской и вниманием, и поначалу Марфу забавлял и улаждал этот вид сильного, здорового, умного мужчины, который становился перед нею совершенно податливым, уступчивым и кротким человеком, что почему-то в сознании Марфы оборачивалось нелюбимой для ее мужа стороной.

Марфа была весела, улыбчива и страстна; она открыла в себе ту свою сторону, которой раньше не знала и которой пользовалась теперь все чаще – запальчивость и раздражительность. Всегда кроткая, смиренная, угнетенная властью матери, Марфа вдруг почувствовала свободу, которой раньше была лишена. Она видела, что теперь любое ее желание непременно будет исполнено, любой каприз будет удовлетворен, и все ее желания теперь и капризы неудержимым потоком выливались на мужа. А он с радением и прилежанием исполнял любое желание супруги так, что скоро она потеряла к мужу всяческий интерес, который поначалу едва теплился в ней, как теплится интерес в ребенке, который во время демонстрации своего поведения вдруг увидел новую картинку, которую ему сунули для утешения.

Таким образом, спустя три года совместной жизни Марфа едва достаивала мужа кивком головы перед завтраком или резким ответом на какой-то его вопрос, иногда в порыве какого-то иступленного пыла посещая его спальню. То, что жена предпочла спать отдельно, Катрич воспринял спокойно, решив, что, возможно, мешает ей ночью своей возней. Он не вполне был удовлетворен редкими посещениями своей жены, но говорить ей об этом не решался, боясь лишиться себя и этих посещений.

Детей у Марфы не было. Когда она только стала замечать в себе раздражительность и нетерпение по отношению к мужу, то подумала о ребенке: возможно, нервозность ее – следствие того, что целыми днями она просиживала в пустом доме в одиночестве, довольствуясь

прогулками и чтением. Но забеременеть никак не получалось, и тогда положение Катрича усугубилось еще больше тем, что Марфа обвиняла его в этой невозможности.

Марфа никому не рассказывала о том, что происходило в ее семье и в самой ее душе в те долгие месяцы супружества. Говорить с матерью о трудности своего эмоционального положения по отношению к мужу было бессмысленно и недопустимо – во-первых, Марфа не смогла бы толком объяснить причину своей бывшей невольной нетерпимости к любым проявлениям любви и нежности Катрича; во-вторых, мать не поняла бы жалоб дочери, найдя ее сетования пустым роптанием капризной женщины, которая сама не знает, чего хочет от этой жизни. В глубине души Марфа понимала, что у нее нет причин презирать мужа, но с каждым днем презрение ее, помимо всякой воли и побуждения, все возрастало.

Не могла Марфа поговорить и со своей сестрой, потому как считала, что и сестра ее, полгода тому назад вышедшая замуж за менеджера компании, в которой работал старший сын Катричей, не поймет ее.

Не было у Марфы и подруг. В университете она хорошо общалась с некой Ветой, темно-волосой и синеглазой, миловидной девушкой, которая как раз и донесла до нее новость об отъезде Мелюхина. Но когда Марфа вышла замуж, Вета постепенно стала исчезать из ее жизни. Была ли тому причина в уменьшении проводимого вместе времени или же в самом сплетении чувств человеческого существа, иной раз порождающем смесь эгоизма, зависти и лести, Марфа так и не узнала. Общение стало постепенно сводиться на нет, и скоро Марфа обнаружила, что с Ветой они перестали созваниваться совсем.

Так, имея, казалось бы, все, что только может сделать человека счастливым, за исключением, возможно, нескольких штрихов, которых не хватало для завершения написанной рукой событий картины, незаметных неискушенному глазу обывателя, Марфа чувствовала себя так, будто все, что окружало ее, представляло собой тугие клещи, которые оказывали на нее невыносимое давление и заставляли страдать.

Но Марфа не находила выхода из создавшегося положения, она не находила причины его, особенно не предаваясь размышлениям о том, почему жизнь ее сложилась именно так, а только все чаще раздражалась и все больше ненавидела мужа, будто он один был виновником ее несчастья.

Сидя теперь за туалетным столиком и растирая густой крем по кистям обеих рук, Марфа с презрительной насмешкой улыбнулась своему отражению в зеркале: алые губы ее растянулись, и на смуглых, загорелых щеках затемнели миловидные ямочки, так что лицо ее, вопреки чувству, породившему улыбку, не сделалось надменным, а приняло выражение любезного снисхождения.

Вдруг взгляд Марфы перестал выражать горделивую горячность, а улыбка исчезла с лица. Марфа поспешно выключила светильник – спальня вновь погрузилась в сумерки, которые за несколько минут стали гуще, потому как солнце уже совсем скрылось за горизонтом, и небо приняло оттенок темного сапфира.

Марфа поднялась с мягкого пуфа на деревянных ножках и, запахнув шелковый халат винного цвета, подошла к раскрытому окну, босиком ступая по согретому лучами заката, теплоту паркетному полу.

Хотелось подставить разгоряченное лицо свежим порывам прохладного воздуха, однако в окно не задувал даже легкий теплый ветерок. Тюли слегка надувались от едва уловимых прикосновений движения воздуха, однако Марфа не ощущала этих прикосновений. В спальне был кондиционер, но Марфа никогда не пользовалась им. Катрич целые дни проводил на работе, в доме убиралась приходящая горничная, а готовила кухарка, которая посещала дом Катричей раз в три дня, так что большую часть времени Марфа была одна. Уединение никогда не тяготило ее – напротив, она привыкла жить в своем узком, тесном мирке, однако теперь, когда в ней зародилось цепкое, сжимавшееся и тут же втрое увеличивавшееся в размерах чув-

ство одиночества, уединение действовало на нее особенно подавляюще. Закрытые окна дома вызывали у нее чувство удушья, ей становилось тесно, дурнота подступала к самому горлу, а сердце учащенно билось в груди. Тогда Марфа стремительно раскрывала все окна, и свежесть воздуха и шепот природы успокаивали и освежали ее. И создавалась иллюзия освобождения от чего-то тягостного, мучившего и душившего ее.

Катрич давно заметил эту новую повадку жены, но не придавал ей особого значения, не видя в этом ничего дурного, даже если окна открывались в пятнадцатиградусный мороз. Помещение охлаждалось, и Марфа закрывала окна. С весны же по самую осень окна всегда были открыты, и Катрича по ночам часто мучили комары – раздувающиеся тлюи едва сдерживали пронырливых мух. Но Марфа наотрез отказалась вешать на окна сетки, упрекнув мужа в том, что он хочет заключить ее в клетку. Ей нравилось подолгу сидеть в кресле у раскрытого окна и смотреть на тонкую линию горизонта за самым полем, что пролегало с западной стороны дома.

Однажды к Катричам зашел их сосед – местный общественник и активист, который собирал подписи жителей поселка в защиту расположенного за поселком поля, которое, как он слышал из уст самого представителя местной администрации, проживавшего в соседнем с его доме, предполагалось застроить целым районом многоквартирных домов. Поселок, в котором жили Катричи, находился в небольшой удаленности от Москвы, однако инфраструктура, сконцентрированная в подмосковном городке, недалеко от которого располагался поселок, позволяла определить его как одного из самых привлекательных для жизни коттеджных поселков Подмосковья. Строительство же целого района не только лишило бы на долгие месяцы, а быть может и годы, покоя жителей поселка, привыкших к безмолвию окружавших поселок лесов и полей, но и отняло бы у поселка ту его прелесть, которую составляли эти самые казавшиеся бескрайними просторы, душистые перелески и небо, в которое вонзились бы крыши высоток.

Катричи, конечно же, подписали все то, что требовалось подписать, и то, что с ревностностью правозащитника предлагал им для подписи этот самый активист.

За пространным разговором, которого нельзя было избежать с таким болтливым и энергичным человеком, как этот общественник, выяснилось, что его малолетняя дочь поступила в школу с уклоном английского языка, но что у нее большие трудности с ним, а вблизи дома не представляется возможным дополнительно заниматься языком, потому как нет репетиторов. Тут Филипп ненароком сказал о том, что Марфа окончила филологический факультет, во время обучения в котором к тому же прошла дополнительное обучение и получила вторую специализацию, позволяющую ей преподавать как русский, так и иностранный язык, то бишь английский. Активист со всей присущей ему энергией отреагировал на это поверхностное и сказанное без всякой цели сообщение, принявшись увещать Марфу позаниматься с его дочкой. Марфа не заставила себя долго уговаривать, с заметной радостью согласившись на это предложение.

Вслед за дочкой общественника, который не преминул рассказать всем об успехах своей дочери, не забывая при этом возносить благодарности Марфе Катрич, у Марфы появились новые ученицы и ученики – отпрыски тех, кто жил в коттеджном поселке и в городке, что стоял недалеко от него, и был знаком друг с другом по причине сходного социального положения и принадлежности к определенному, не узкому, но и не вместительному кругу знакомств. Так у Марфы появилось занятие, к которому она относилась со всем присущим ей спокойным интересом и увлеченностью, несколько отвлекаясь теперь от незаметных, но ощутимых мыслей об одиночестве.

Но скоро среди учеников Марфы появились дети и из простых семей – многие жили в соседней с поселком небольшой деревне в две улицы. Причиной появления у Марфы новых учеников на сей раз послужила неразговорчивая горничная – женщина, которая жила в этой самой деревне и приходила к Катричам убирать в доме. С Марфой она говорила всегда мало и только по существу, но однажды, когда от Марфы ушел один из ее учеников, горничная робко

вошла в гостиную, где Марфа складывала учебники в ожидании прихода нового ученика, и обратилась к ней:

– Марфа Кирилловна... – услышала Марфа на удивление прямой и привычно-добродушный голос горничной. – Я сказать хотела, спросить... Вы знаете... – Она неожиданно замялась, так что Марфа даже невольно улыбнулась ей и всем корпусом подалась вперед, выражая тем самым готовность выслушать и принять все то, что горничная собиралась сказать. – Знаете, у меня племянница есть, в школе учится. Хорошо учится, только по русскому у нее неважно... И сочинять не умеет, писать. А помочь некому. Я бы не стала просить, но если вам не трудно...

– Вы хотите, чтобы я помогла ей с русским языком? – спросила Марфа.

– Если вам трудно не будет, – вновь повторила горничная, выражая тем самым свой утвердительный ответ. – Я заплачу за нее. Сколько нужно, вы только скажите...

– Конечно, пусть приходит ко мне, – перебила горничную Марфа.

– Спасибо, – облегченно выдохнула горничная и при этом широко и благодарно улыбнулась. – Вы хорошо учите – я вижу. Она умная девчонка, а вот с орфографией и сочинительством – беда.

Племянницей горничной оказалась рыженькая, худая и конопатая девочка четырнадцати лет. Марфа занималась с ней русским языком, при этом денег за свои уроки она с нее брать отказалась. Потом из деревни к ней стали ходить еще ребяташки: кому нужно было подтянуть английский, а кому – правописание. Скоро об этих уроках знал весь поселок, и все очень удивлялись тому, что Марфа не брала с детей из деревни плату за свои уроки. Дочка же активиста и рьяного защитника всего правильного и прекрасного ходить к Марфе перестала, а среди соседей прошел едва уловимый и скоро позабывшийся слух о том, что жена архитектора рисует перед обществом, беря деньги с состоятельных людей и не взымая платы с людей малого достатка. Марфа с соседями практически не общалась, поэтому о слухе не знала и так и не узнала еще и потому, что скоро свои уроки она для всех сделала совершенно бесплатными. В этом своем действии она безотчетно нашла для себя большую пользу, которой не видела в деньгах, никогда не имевших для нее присваиваемой им ценности, потому как она никогда еще не имела недостатка в них.

В высоком сапфировом небе, вдруг совсем очистившемся от перистых облаков, загорались первые звезды. Марфа подумала о том, что цвет неба напоминает ей что-то, и именно эта бледная россыпь звезд на глубоком сапфировом полотне...

«Ну конечно!» – почти весело вздохнула про себя Марфа, когда вспомнила свое искрящееся сапфировое платье, в котором она впервые появилась с мужем в обществе его друзей.

У Катрича было много знакомых и приятелей, которые почти все были связаны с той деятельностью, которой он занимался. Первое появление новоявленных супругов в этом обществе произошло на открытии реконструированного здания концертного зала. На открытии собрались все члены правления компании, в которой работал Катрич, а также высокопоставленные сотрудники компаний-партнеров. Марфа, степенная, сдержанная, но с глазами, полными живого блеска, вошла в здание концертного зала под руку со своим супругом, лицо которого дышало молодостью и воодушевлением. Все поздравляли Катрича с женитьбой, крепко пожимая его руку, и восхищались красотой его молодой жены, которая принимала комплименты так, будто они касались не ее самой, а кого-то, кого она едва знала.

На том вечере Марфа ни на шаг не отходила от мужа, хотя даже если бы и захотела это сделать, то у нее едва бы получилось уединиться, – Катрич ни на секунду не отпускал ее от себя, крепко прижимая ее руку к себе и чуть ли не каждое мгновение обращая к ней свои полные заботы и любви глаза. Только теперь, несколько отрезвевшая после своего скоростного замужества, Марфа могла рассмотреть тех, кто составлял круг общения Катрича: кое-кто был на их свадьбе, но, одурманенная круговоротом суматохи, Марфа едва ли помнила их;

о некоторых вскользь рассказывал ей муж; о других Марфа ничего не слышала и видела их впервые. В любом случае вечер, на котором женщины в дорогих вечерних платьях пили золотистое шампанское, изящно держа бокалы своими тонкими ухоженными пальцами, а мужчины в смокингах вели деловые беседы, при этом громко иногда смеясь какой-то незабавной шутке, был во всем нов для Марфы, не знавшей до этого таких вечеров. И внимание, которым покрывали чету Катричей в тот вечер, заставляло ее испытывать ту важность и гордость своего положения, которым всегда учила ее мать и которые она никогда не испытывала.

Когда Катрич, увлеченный своим счастьем, познакомил Марфу со своим хорошим другом, который был руководителем страхового отдела компании, где работал Катрич, Марфа вслух отметила, что не помнит, чтобы он был на их свадьбе, про себя подумав, что наверняка запомнила бы это вытянутое, прямое лицо, которое показалось ей очень мужественным и красивым, эти светло-русые с золотым отливом волосы и глаза, в которых застыла океанская синева. Друг же, которого представили ей как Марка Зимина, сказал, что был в то время в отъезде по поручению вышестоящего начальства, а Катрич не преминул тут же напомнить Марфе о том, что не раз высказывал ей свое сожаление по поводу того, что на их свадьбе не будет Зимина, его близкого друга. Марфа согласно кивнула, хотя совсем не помнила этих сожалений своего мужа. Уже тогда она с невниманием относилась к тому, что он рассказывает ей, — но в то время это было вовсе не следствием нелюбви к мужу, а просто свойством характера самой Марфы, которую едва ли можно было назвать внимательной и участливой.

Марфу нельзя было отнести к той категории женщин, которые, будучи замужем, позволяют себе слабости на стороне. Несмотря на отсутствие в ней воли, она все же обладала качеством, которое делало для нее невозможным искать утешение своим томленьям в порочной связи с другим мужчиной, — верностью. Она прилежно следовала всем воспитанным в ней пунктам материнского списка добропорядочности, который не допускал измены. Но если б в Марфе присутствовала хотя бы доля своеволия и умение властвовать над собственной жизнью, то, возможно, в своем положении она и позволила бы себе скрасить свои дни незатейливым, ни к чему не обязывающим кокетством, оправдание которому нашла бы в том устройстве своей жизни, к которому ее принудили. И тут как раз возникает противоречие, диктующее исключение: если бы характер Марфы не был бы лишен присутствия силы духа и упрямства, то она не покорялась бы чужой воле так безропотно, как делала это всегда, а следовательно, не позволила бы предпринять с собой тех поспешных, опрометчивых действий, которые привели ее к замужеству с человеком, которого она едва знала и совсем не любила. Таким образом, свяжи она свою жизнь с тем, к кому тянулась бы ее глубокая, совсем неразвитая еще душа и весьма поверхностная натура, она никогда бы не изменила ему, сочтя саму мысль об измене недопустимой.

Но Марфа, в которой причудливым образом сочетались безвольность и запальчивость, ни отвергала мысль об измене, ни принимала ее, а просто не думала о том, какое из направленных к чужому мужчине движений взгляда или улыбки является кокетством, а какое — только проявлением сдержанного благорасположения.

Марк Зимин, единственный из всех знакомых Катрича привлечший внимание Марфы, неожиданно для нее самой всколыхнул в ней те струны ее сердца, которые тронул когда-то Мелюхин. Внешняя ли схожесть их сыграла роль, или же иное обстоятельство, объясняемое красотой лица Зимина и его обходительными манерами, неизвестно, но с того вечера, когда Марфа познакомилась с Марком, в ней впервые со времени помолвки ее с Катричем родилось смутное непонимание, рождавшее вопрос: как случилось так, что она вдруг стала чьей-то женой?

Сначала она покорно следовала течению действительности, наполненной тихой радостью Филиппа Катрича, его любовью, которую она принимала как должное, и ласками, которые заставляли ее переживать короткие минуты увлеченности. Потом, часто встречая Зимина,

который был желанным гостем в доме Катрича, в Марфе постепенно зарождались раздражительность и недовольство, верно и неумолимо перераставшие в презрение к мужу.

Когда Зимин, заезжая в выходной день к Филиппу, оставался у Катричей на обед, Марфа преображалась. Она становилась игриво-сдержанна, в ней появлялась веселость, которая всегда радовала Филиппа. Он считал, что Марфе просто не хватает общения, и старался как можно чаще бывать с ней в театре или у друзей, и в эти выходы Марфа всегда становилась как будто веселее, всякая раздражительность исчезала из ее речей, на губах появлялся легкий оттенок улыбки, а на щеках играли миловидные ямочки. Филипп не замечал, что Марфа преображалась большей частью тогда, когда там, куда она шла с мужем, был Зимин – неизменно красивый и обаятельный.

Возможно, не замечала причины этой своей перемены в себе и сама Марфа: при виде Зимина в ней словно успокаивался какой-то нерв, а душу разжимали свинцовые объятия клещей. И ей снова было легко и радостно, как и в далекий, уже как будто позабывшийся апрель, когда она стояла посреди сквера, доверчиво глядя в голубые глаза и внимая устам, вселявшим в нее несбыточную надежду. Ей казалось, будто надежда вновь возрождается в ней, и безысходность, которая все больше окутывала ее, рассеивается под ее воздействием.

Вначале Зимин не проявлял никакого интереса по отношению к Марфе, замечая, однако, ее особенное отношение к нему. Зимин всегда пользовался большим успехом у женщин, и внимание Марфы, которая была женой человека, в союзе с которым он зарабатывал хорошие деньги, вызывало в нем только осторожность. Он старался никогда не оставаться с ней наедине, любезно принимая ее благосклонность, но не распаяя в ней опасной для него страсти. Зимина останавливали не столько хорошие и даже дружеские отношения его с Катричем, сколько доход, который приносили ему эти дружеские отношения. Связь же с Марфой, пусть даже мимолетная и ни к чему не обязывающая, могла лишить его всего, чем он так дорожил.

Однако на третьем году брака Марфа, воспринимавшая теперь Зимина едва ли не как члена семьи, стала замечать ту перемену его отношения к ней, которая необыкновенно ей льстила. Он перестал избегать ее общества, проявляя к ней теперь то обходительное внимание, которое она искала в отношениях с ним с самого первого дня их знакомства. Перемена эта была едва заметна для окружающих, но Марфа чувствовала ее и необыкновенно радовалась ей, как радовалась бы любой другой перемене, которая ворвалась бы в ее пресную, однообразную, лишенную всяческих надежд жизнь.

Что породило эту перемену отношения к ней Зимина, Марфа не знала, и едва ли причины этой перемены интересовали ее. Она снова повеселела, стала меньше раздражаться на мужа и просыпалась теперь с улыбкой в предвкушении нового дня, в который Марк мог заехать к Катричам в отсутствие Филиппа.

Начались эти приезды около недели назад.

Было воскресенье. Зимин заехал к Катричу в седьмом часу вечера, чтобы обсудить с ним какие-то вопросы, касающиеся строившейся в Петербурге галереи, проект которой принадлежал Катричу, а также чтобы завезти ему какие-то документы. Филипп, вызванный неожиданным звонком, собрался ехать в Петербург следующим днем, и документы требовались ему незамедлительно. Однако, когда Зимин приехал в дом Катричей, он застал там только Марфу.

– Филипп у родителей, – сказала она Зимину, обрадованная его приездом. – Он будет дома с минуты на минуту.

Марфа предложила Зимину выпить чаю. Зимин не отказался. Положив папку с документами на край светлого кресла, стоявшего в гостиной, он опустился на диван и стал наблюдать, как Марфа разливает по чашкам уже заваренный чай, предупредительно принесенный ею на подносе в гостиную за несколько минут до прихода Зимина. Филипп позвонил жене около шести часов и сказал, что к нему должен заехать Марк. До самого прихода Зимина Марфа

не переставая кипятить чайник, находя в этом ожидании закипания воды умирение своему волнению.

Когда чай был разлит по чашкам, Марфа опустилась на диван напротив Зимина и взяла со стола широкую белую чашку с блюдцем. Сделав небольшой глоток из чашки, она подняла глаза на Зимина, который продолжал внимательно рассматривать ее с нескрываемым интересом. Было во взгляде его синих глаз что-то, что почему-то откликнулось в душе Марфы томным страхом, но она снова опустила глаза, и страх этот тут же исчез.

– Ты не едешь вместе с Филиппом в Петербург? – спросила Марфа, чтобы прервать показавшееся ей напряженным и неловким молчание, хотя сам приезд Зимина являлся ответом на этот пустой вопрос.

– Я там не нужен, – не сразу откликнулся Зимин, выдержав долгую паузу. – Случилась какая-то сложность с проектом, и Филипп нужен там как его создатель. Мое присутствие не является обязательным.

Марфа улыбнулась, как делала это всегда, когда ответ на какую-либо реплику не сразу приходил ей на ум. Улыбка всегда была лучшим и многословнейшим ответом на любой вопрос, и Марфа пользовалась этой мудрой уловкой.

– У тебя очень талантливый муж, – произнес Зимин, откинувшись на спинку дивана. – Ты знаешь об этом?

– Догадываюсь, – в тон замечанию Зимина ответила Марфа, хотя едва могла по достоинству оценить способности своего мужа.

– Запасу его проектов мог бы позавидовать любой именитый архитектор.

Марфа усмехнулась – ямочки на ее щеках игриво затемнели.

– Филипп уже показывал тебе проект нового бизнес-центра, который он планирует предложить для продажи американской строительной корпорации? – спросил Зимин.

– Нет, – заинтересованным голосом сказала Марфа, даже выпрямившись и поставив чашку с блюдцем на стол.

– Как? – изумленно воскликнул Зимин, тут же подавшись вперед. – Ведь это едва ли не самый грандиозный проект за всю историю существования нашей компании!

– Мы с Филиппом редко обсуждаем его работу, – сказала Марфа так, будто занимательные беседы с мужем были неотъемлемой частью ее жизни.

– Это ужасное упущение! – продолжал ошеломленным тоном восклицать Зимин. – Я незамедлительно должен это исправить! Срочно проводи меня в кабинет Филиппа – я познакомлю тебя с человеком, о котором, как оказалось, ты знаешь так мало...

Зимин выглядел таким растерянно-изумленным, а красивое лицо его было исполнено такого участия, что Марфа тут же поднялась с дивана и проследовала к лестнице, ведущей на верхние этажи дома. Зимин двинулся за ней.

Дверь кабинета, расположенного в самом конце коридора третьего этажа, была плотно закрыта. Открыв дверь, Марфа вошла в наполненный сумерками кабинет.

Стены теплого серого оттенка в свете затухающего дня казались совсем темными; стеллажи с книгами занимали левую стену, у правой стены стоял квадратный деревянный столик, два стула и пуф; над столиком висела картина, на которой были изображены расплывчатые очертания какой-то усадьбы в окружении цветущего сада, и два светильника; напротив входа располагалось высокое окно, занавешенное светлым тюлем, с отдернутыми плотными шторами стального оттенка; напротив окна стоял деревянный глобус; слева же от окна находился рабочий стол Катрича, с разложенными на нем курительной трубкой, несколькими книгами, альбомами, телефоном, черным ноутбуком и записной книжкой в плотном темно-коричневом кожаном переплете.

Марфа прошла к столу и включила светильник, стоявший в левом углу стола. Кабинет осветился мягким золотистым светом, что смешался с серым светом несолнечного летнего вечера.

– Признаться, я не знаю, где Филипп хранит свои проекты, – сказала Марфа, беспомощно разведя руками перед столом.

Зимин подошел к ней и обвел внимательным взглядом разложенные на столе предметы.

– Насколько я знаю Филиппа, он любит работать по старинке, – задумчиво протянул Зимин. – Где могут храниться чертежи?

Марфа в раздумье закусилла нижнюю губу. Обернувшись, она осмотрела стеллажи с книгами, прошла к ним и извлекла вдруг с одной из полок широкий альбом. Положив его на стол, Марфа раскрыла его.

В альбоме рукой Катрича были начерчены аккуратные чертежи, ни о чем не говорящие Марфе. При виде чертежей Зимин ближе подошел к столу и едва коснулся пальцами ободка плотной обложки. Глаза его сосредоточенно и внимательно несколько секунд рассматривали первый чертеж, после чего пальцы аккуратно перевернули страницу, и взгляд вновь впился в аккуратные карандашные линии с написанными над ними узким мелким почерком заметками.

– Здесь его нет, – заключил Зимин после того, как просмотрел весь альбом. – Возможно, Филипп уже перенес его в компьютер.

Марфа открыла крышку ноутбука и нажала на кнопку включения. Скоро загорелся экран, на котором высветилось поле для ввода пароля.

– Пароля я не знаю, – пожала она плечами, с сожалением посмотрев на Зимина.

Марк глубоко вздохнул. В его взгляде появилось искреннее разочарование.

– Очень жаль, – сказал он, встречая взгляд Марфы.

Марфа, стоявшая спиной к Марку, почувствовала этот его ответ самой своею кожей – дыхание Зимина касалось ее шеи и щеки, а взгляд, который она встретила, обернувшись, проник в самые глубины ее существа. И вновь взгляд этот откликнулся в ее душе потаенным страхом, будто было в нем что-то, чего она подсознательно опасалась, но чему никак не могла дать точного определения.

Марфа поспешно выключила ноутбук и захлопнула крышку. Убрав альбом обратно на полку, Марфа выключила светильник, и в кабинете вдруг стало еще темнее, чем было, когда они только пришли в него.

Марфа и Зимин спустились обратно в гостиную. Настенные часы показывали без четверти семь. Марфа предложила Зимину выпить еще чаю, но Марк отказался. Выражение лица его, спокойное, обходительное, любезное, нисколько не изменилось по возвращении в гостиную, но Марфе почему-то казалось, что что-то все же изменилось в этом выражении – что-то, что едва уловимо и заметно только тому, кто внимательно изучил все малейшие изменения выражений знакомого лица, – будто в кабинете произошло что-то значительное для них обоих, что-то, о чем не следует никому говорить.

Скоро приехал Филипп, и Марфа оставила их, поднявшись к себе в спальню. Сквозь приоткрытую дверь Марфа слышала приглушенные голоса, доносившиеся с первого этажа, но не могла разобрать слов. Спустя час все стихло – Зимин ушел. Марфа торопливо поднялась с кресла, на котором сидела, и плотно закрыла дверь в свою комнату, чтобы у мужа при виде приоткрытой двери не возникло мысли зайти к ней, – Марфе не хотелось ни о чем говорить с ним. Она обдумывала этот зародившийся в ее душе потаенный страх взгляд Зимина и прикосновение его дыхания, коснувшегося ее загорелой шеи и щеки...

Марк приехал вечером следующего дня. Марфа не ожидала его приезда. Утром Катрич уехал в Петербург, и Марфа почему-то не предполагала, что Зимин может заехать к ней в отсутствие мужа. Но Зимин заехал, и Марфа была этому рада.

Зимин сказался голодным, и Марфа вызвалась накормить его вкусным ужином, который приготовила приходившая в первой половине дня кухарка. Марфа открыла бутылку вина, на которую намекнул ей Зимин. Вино разгорячило ее тело, взгляд ее заблестел тем янтарным цветом, который делал необычайно привлекательным ее лицо, а ямочки на ее щеках стали темней и отчетливей.

– Ты не хотела бы заняться чем-нибудь? – спросил Марфу за ужином Зимин. – Например, открыть свою школу английского языка. Я уверен, Филипп бы помог тебе в этом.

– Во мне совершенно отсутствует карьеризм, – сказала Марфа, при этом широко улыбувшись. – К тому же мне достаточно того, что я и так занимаюсь с детьми.

– Мне кажется, ты недооцениваешь себя, – склонил голову Зимин, при этом ласково улыбувшись.

– А мне всегда казалось, что меня переоценивают другие, – ответила Марфа.

– Филипп говорил, что твои уроки английского бесплатны, – вдруг сказал Зимин.

– Это очень приятно – что-то отдавать, при этом не получая ничего взамен, – отозвалась Марфа. – Кроме их благодарных улыбок, конечно, когда они приносят из школы пятерку. К тому же все дети одинаково доверчивы и всегда ждут чуда, будто все их мечты когда-нибудь обязательно исполнятся только потому, что они этого просто хотят. Жизнь успеет их в этом разуверить. А задача взрослых, я думаю, отдать детям то, что они могут отдать. Безвозмездно и в то же время вознаграждено. Все дети одинаково наивны и доверчивы, – повторила задумчиво Марфа. – Это мы делаем из них карьеристов и закомплексованных людей.

После ужина Зимин горячо поблагодарил Марфу, еще поговорил с ней немного, запиная слова вином, а после, попрощавшись, ушел. Перед самым своим уходом он предложил Марфе следующим вечером сходить с ним на концерт, организовывавшийся по случаю вручения какой-то литературной премии и проходивший на берегу озера в каком-то поселке, недалеко от Москвы. Он аргументировал свое предложение тем, что в отсутствие Катрича не хотел бы, чтобы Марфа проводила не только дни, но и вечера в одиночестве. Марфа с восторгом согласилась, не находя ничего предосудительного в том, что пойдет на концерт в обществе близкого друга семьи.

Зимин заехал за Марфой в пять часов вечера следующего дня. Марфа надела темно-зеленый брючный костюм, цвет которого очень гармонировал с ее пепельно-русыми волосами, и такого же цвета широкополую шляпу, которая очень подходила к форме лица Марфы, делая его нетривиальным, даже экзотичным с этими круглыми щеками, ямочками и янтарными глазами, выглядывавшими из-под полей шляпы. Марфа любила носить головные уборы, и в ее гардеробной было отведено отдельное место для целой коллекции различных шляпок и платков. Зимину Марфа показалась в тот день даже красивой, несмотря на то что до этого он считал жену Катрича совершенно бесхитростно сложенной, хотя признавал, что именно в этой ее простоте сложения кроется какая-то привлекательность, которой нет в красоте явственной, кричащей.

Концерт, проходивший под открытым небом, показался Марфе скучным. Все песни, которые исполнялись на нем, она уже слышала, а награждаемых деятелей литературной сферы она не знала. Никто из зрителей не был знаком ни Марфе, ни Зимину, поэтому они не были никем узнаны. По окончании концерта Зимин предложил Марфе заехать в ресторан, чтобы поужинать, и Марфа не стала возражать на это его предложение.

В ресторане, в который Зимин привел Марфу, несмотря на поздний вечер будничного дня, было много людей. Столики были вынесены на открытую широкую веранду, так что не чувствовалось ни духоты, ни тесноты пространства, а ощущался только тихий летний вечер, который в середине июля кончается лишь с рассветом.

– Как ты думаешь, в чем заключается главная сложность устройства человеческой жизни? – обратился к Марфе Зимин, глядя на нее своим странным пронизательным взглядом.

дом. – Отчего бывает трудно принять решение, хотя при здравом рассуждении ответ кажется очевидным? Почему мы всегда пребываем в сомнениях?

Марфа не выдержала долгого взгляда Зимина и опустила глаза, рассматривая узорчатую поверхность деревянного столика.

– Моя мама всегда говорила, что главная сложность в жизни заключается в желаниях, – сказала она после короткого молчания. – В желаниях, которые не могут быть однозначно оценены, а значит, не могут являться опорой человеческой жизни.

– Но ведь вся жизнь – это череда желаний, – в сомнениях сузив глаза, произнес Зимин.

– Наверное, поэтому я не раз задавалась вопросом, чем же живет моя мать, если философия ее жизни сводится к отрицанию того, что единственно является признаком одухотворенности неживого существа, – грустно усмехнулась Марфа. – Хотя... – вдруг протянула она, подавшись минуте забвения и внутреннему взору, вдруг открывшемуся в ней, – я и сама, наверное, едва жива...

– Мне ты кажешься самой живой и одухотворенной, – тихо проговорил Зимин, но Марфе показались эти его слова необычайно четкими и ясными.

– Возможно, потому, что ты сам одухотворяешь меня, – сказала Марфа.

Но, вопреки речам, исполненным доверительного откровения, Марфа не испытывала желания и потребности говорить с Зиминим о своих жизненных опорах и философиях. Ей нравилось вот так сидеть и говорить с ним, как нравится человеку все новое, неизведанное и обещающее открытие. И даже если бы Зимин молчал и вовсе не говорил с ней, ей бы все равно понравился тот вечер, со скучным концертом и ужином, который был так непохож на все ужины в ее жизни.

После ресторана Зимин довез Марфу до дома. Прощаясь с ним, Марфа не коснулась ни его руки, ни ткани его рубашки. Она попрощалась с ним так, как прощалась всегда, не выделив этого прощания из десятка других. Но все же, помимо ее воли, прощание это выделилось из общей массы других, оно получилось каким-то особенно благодарным и нежным, и Марфа, вновь испугавшись чего-то, поспешно открыла дверцу и вышла из автомобиля.

Вернувшись домой, она не включила свет. Пройдя по всем комнатам дома, Марфа раскрывала окна, впуская в дом свежий, прохладный воздух июльской ночи.

Марфа долго не могла уснуть. Не мысли мешали ей, но какое-то иступленное, жгучее, разрывающее грудь беспокойство, смятение и все тот же страх. Чего она боялась? Не было ее, этой причины, форменной, определенной, но было чувство, все то же желание, которое ее учили отрицать. Но отрицать, изжить его из себя не получалось, и Марфа испытывала что-то похожее на внутреннюю, невидимую борьбу.

Борьба эта продолжалась до самого утра. Сон так и не пришел к Марфе, и в шесть часов утра она поднялась с постели и вышла в сад.

Солнце уже позолотило верхушки молодых яблонь, слышен был звонкий щебет птиц, а небо покрывалось дымчатой пеленой отступающей ночи, что мягко скользила к самому основанию небосвода.

Свежесть раннего утра несколько освежила разгоряченное за ночь тело Марфы. Она прошла в самую гущу сада и опустилась на скамейку, с которой сквозь редкие тонкие стволы деревьев просматривалось поле, освещенное солнцем.

Марфа испытывала то расстройство своего состояния, которое она сама определяла как надлом, – что-то надломилось в ней, трещина расползалась все дальше, глубже, в груди щипало, ныло, а сердце билось в висках так, будто вот-вот должно было произойти что-то страшное, опасное и даже трагическое. Она с трудом теперь вспоминала те дни, такие, казалось бы, недавние, когда она не замечала этого надлома, все дышало ровно вокруг нее, все было правильно, хотя и пусто. А теперь это отягощающее ее сомнение... Откуда оно? Что породило его? И что в ней так ожесточенно борется?

Марфа просидела в саду до семи часов утра. Когда солнце, поднявшись выше, бликом упало на ее высокий лоб, она встала со скамейки и вернулась в дом. Поднявшись в спальню, она легла на кровать и сразу же провалилась в глубокий сон...

Казалось, все годы сошлись к одному дню и все скупые переживания заключились в одном часе, вобравшем в себя всю жизнь Марфы.

Наступил четверг. К вечеру должен был вернуться из Петербурга Филипп. Марфа чуть ли не впервые в жизни ждала возвращения мужа так сильно, как только позволяло ей это ее слабое, безвольное существо и ее ставшее уже безотчетным презрение к нему.

Но ждала она мужа не по воле тоски по нему, а по причине все тех же сомнений и страхов, которые его приезд должен был разрешить. Накануне же случилось то, что являлось совокупностью исполнения желания человеческого и стремления подавить в себе это желание.

На следующий после концерта день, после бессонной ночи и короткого сна утром, Марфа не чувствовала себя разбитой – напротив, она ощущала прилив сил и какое-то яростное, граничившее с истерикой воодушевление.

Время приближалось к восьми часам вечера, а Зимин за весь день ни разу не позвонил. Марфа думала о нем с самого утра, и когда для нее стало очевидным то, что в этот вечер он не придет к ней, то она решила сама поехать к нему. Она испытывала потребность узнать причину тоски, охватившей ее, и, раздумывая о прошедших днях, что было несвойственно ей, она приходила к выводу о том, что причина этого ее надлома кроется в Зимине.

С самого первого дня знакомства с ним в ней зародилось это удушливое, угнетающее ее сомнение. Быть может, если разрешить его (а прямой, благосклонный, ласковый взгляд Зимина говорил ей, что это возможно), то жизнь ее снова станет такой, какой она была в первые дни замужества, – внемлющей любви и освобожденной от всяких уз предубеждений.

Марфа, быстро собравшись, спустилась вниз и, взяв из комода ключи от машины, вышла из дома и прошла к гаражу, где стоял автомобиль. Ездил она на машине редко и большей частью потому, что ездить ей было некуда. Теперь, заводя двигатель, Марфа испытала еще больший душевный подъем от того, что у нее появилась как будто важная в жизни цель и она могла свободно достигнуть ее, сама доставив себя к ней.

Спустя полчаса езды по свободной пригородной трассе, Марфа въехала в Москву и скоро остановилась напротив многоэтажного жилого дома, расположенного недалеко от центрального ее района.

Зимин несколько удивился приезду Марфы, хотя удивление его почти совсем не отразилось на его лице, которое тут же приняло приветливое и привычно-услужливое выражение. Он все еще был в рубашке и костюмных брюках – должно быть, он только недавно вернулся домой.

Марк пригласил Марфу в гостиную. Она прошла в просторную, показавшуюся ей темной от непривычных темно-серых тонов комнату, и остановилась, рассматривая простой ее интерьер, в котором преобладал строгий минимализм.

Зимин, расценивший приезд Марфы так, как расценил бы его всякий мужчина, не стал расспрашивать ее о причинах, приведших ее к нему, а, с секунду помедлив, подошел к ней и, развернув ее к себе, крепко сжал пальцами ее плечи, впившись своим пронизательным взглядом в ее глаза, встретившие его глубоким янтарным блеском. Он не увидел во взгляде Марфы ничего, кроме этой медовой глубины. Только губы ее, слегка приоткрывшись, так что он почувствовал на своих губах ее дыхание, произнесли:

– Принеси мне что-нибудь выпить...

Зимин впервые за все время знакомства с Марфой испытал влечение к ней, которое она могла пробудить в мужчине этим своим податливым смирением, что таило в себе обещание страсти. Встретив ее покорный взгляд и услышав слова, произнесенные голосом кротким и спокойным, он отпустил ее плечи и отстранился от нее. Сочтя ее спокойствие за решимость, он

прошел на кухню, открыл бар и достал оттуда бутылку вина. Налив в бокал вино, он плеснул себе в стакан виски, сделал большой глоток, налил еще, бросил в стакан несколько кусочков льда, взял стакан и бокал и вернулся в гостиную. Марфы в гостиной уже не было...

III

Ответ, который Марфа получила, заглянув в глаза Зимина и прочтя в его взгляде одну только неприкрытую страсть, а в лице его увидев совершенное бесстрашие, ввел ее в состояние отрешенности, фатальной убежденности в том, что же является причиной того надлома, который она все больше ощущала в себе и который, должно быть, уже давно появился в ней, но обнаружился только теперь, когда она позволила прикоснуться к этому надлому тому, что само и является причиной появления его.

Зимин никогда бы не полюбил ее – Марфа была теперь убеждена в этом. И она никогда бы не полюбила его. Марфу влекло к Зимину непонятное ей, почти гипнотическое воспоминание чего-то, что когда-то позволило ей почувствовать жизнь в себе, ощутить вкус ее и увидеть ее цвет. Зимин же никогда не испытывал влечения к Марфе, и его неожиданное ласковое расположение к ней диктовалось определенными мотивами, побудившими его подвергнуть риску свои дружеские отношения с Катричем и известные только ему одному. Как бы то ни было, Марфа вдруг поняла, что существует одно только обстоятельство, которое является проявителем, помогающим отличить пустое желание удовлетворения своего влечения от основательного, глубокого чувства, которое является началом всякой воли и любви. Внимательный, изучающий, проникнутый какой-то пугающей откровенностью взгляд Зимина был совершенно лишен всяческого трепета и уважительности, – одна только благовоспитанная, вышколенная предупредительность плескалась в нем. Угодливость выражения его лица и его машинальная обходительность были лишены чего-то настоящего, живого. И в этой спокойной заботливости и внимательной, цепкой участливости Марфа вдруг увидела отражение того, чем являлась она сама, – сводом правильного, заученного поведения, который *диктовал* события жизни, а не *предлагал* их.

Возвращаясь обратно домой, Марфа, как заклинание, прокручивала в мыслях образ своего мужа, впервые в жизни всем сердцем желая, чтобы он оказался дома, – почему-то именно в те минуты он вдруг всплыл в ее памяти, предстало перед глазами его живое лицо, улыбка его и взгляд, всегда наполнявшийся любовью при виде жены. Но дом был пуст – темнели его высокие окна, и только одиноко желтел фонарь над входом, освещая входную дверь и гранитные ступени.

Сапфировый свод неба постепенно темнел, укрываясь матовым полотном ночи, бесцветно-черным, двусмысленным и туманным.

Катрич вернулся из Петербурга только в пятницу утром, но в Марфе к тому времени уже остыло ее нетерпеливое ожидание возвращения мужа. Она встретила его более приветливо, нежели обращалась с ним раньше, накрыла к завтраку стол и все время улыбалась ему, ожидая, что он как-нибудь по-особенному выразит ей свою благодарность за ее ранний подъем, радушную встречу и завтрак, который Марфа почти никогда не готовила мужу, за исключением вот таких порывов глухой приязненности. Но Катрич, вопреки ожиданиям Марфы, не только, как ей показалось, совсем не заметил ее особого расположения к нему в то утро, но даже не притронулся к завтраку: Филипп наспех поцеловал жену, поднялся в спальню, торопливо переоделся, зашел к себе в кабинет, собрал какие-то бумаги, после чего спустился вниз и, одарив жену еще одним беглым поцелуем, уехал.

Эта поспешность мужа обидела Марфу. Она испытала чувство разочарования, будто и он, единственный, для кого, как она считала, она была фокусом жизни, вдруг отвернулся от нее, проявив к ней все ту же бесстрастную заученность и формальность.

Катрич часто задерживался на работе, и в тот день он не возвращался домой особенно долго. Стрелки часов уже перевалили за полночь, когда Марфа услышала, что входная дверь дома открылась.

Марфа обернулась на этот звук.

Дверь ее комнаты была распахнута. Поднявшись с кресла, что стояло напротив раскрытого окна, Марфа подошла к двери. Внизу слышались мерные шаги Филиппа, но наверх он не поднимался. Марфа решила не спускаться к мужу, вспомнив его обхождение с нею утром. Но все же она не стала плотно закрывать дверь своей спальни, решив, что это ее действие было бы слишком резким по отношению к ее мужу, которого не было дома больше четырех дней. И Марфа только прикрыла дверь спальни, оставив мужу возможность самому решить, заходить к ней или нет.

Марфа легла на постель, не снимая халата. Она отвернулась от двери и лежала теперь с открытыми глазами, рассматривая тусклую стену, цвет которой совсем нельзя было различить в темноте.

Внезапно на стене появилась желтая полоса света, просочившегося в приоткрытую дверь спальни, – Филипп включил в коридоре второго этажа светильник.

Марфа прислушивалась к шагам мужа, которые медленно приближались. Внезапно шаги стихли – Филипп остановился, но не у двери спальни жены, а чуть дальше, там, где была дверь его комнаты. Некоторое время Марфа не слышала ничего. Вдруг снова шаги – и через несколько мгновений желтая полоса света исчезла со стены. Марфа обернулась. Дверь в ее спальню была плотно закрыта.

На следующий день Катричи были приглашены Алексиной Тимофеевной на празднование юбилея Кирилла Георгиевича. Празднование это проводилось скромно, по-домашнему, в четырехкомнатной просторной московской квартире, где жили Дербины.

В гостиной был накрыт стол, за которым собралось все многочисленное семейство. Приехали сыновья Дербиных, старший из которых привез с собой немолодую уже женщину, назвавшуюся его невестой, Агриппина с мужем и восьмимесячным сыном и сама чета Катричей, которой особенно была рада Алексина Тимофеевна. Она уважала Филиппа, находя в нем ту редкую способность мягко, но твердо держать себя, которая всегда вызывала в ней уважение.

Кирилл Георгиевич заметно постарел за прошедшие три года. Ему исполнилось шестьдесят пять лет. Еще недавно ему нельзя было дать больше пятидесяти, и очень он всегда гордился этим своим моложавым видом. Но потом, как это часто бывает с теми, кто выглядит моложе своих лет, он вдруг резко постарел, его еще густая шевелюра на голове стала совсем белой, а лицо осунулось, щеки опустились, даже обвисли, а на лбу появились коричневые пятна. Он сдержанно улыбался, сидя во главе большого стола, и время от времени поддакивал на замечания своей жены.

Алексина Тимофеевна же нисколько не изменилась. Она была младше мужа на четыре года и всегда выглядела строго на свой возраст, со всех сторон ухоженный и старательно корректируемый. Невысокая, сухая, с пышной темной копной волос без единой проседи, собранных в объемную высокую прическу, она производила впечатление женщины бодрой, энергичной и уверенной в себе, каковой, собственно, и являлась.

Сыновья Дербиных, младшему из которых было тридцать два года, а старшему – тридцать пять лет, были высоки ростом, статны, как отец, с упрямо выдвинутыми подбородками, высокими лбами и жестким изгибом бровей, который делал взгляд обоих твердым и решительным. Агриппина же была маленькой и худой, как мать, с тонкими темными волосами, собранными на затылке в небольшой пучок, бледными щеками и пышными ресницами. Личико ее, некогда бывшее утонченно-прелестным, с нежным розовым румянцем на щеках и веселым взглядом,

потускнело, и Марфа видела в нем тщательно скрываемую усталость, лицемерием отзывавшуюся в ее улыбке.

Марфа же была как всегда сдержанна и немногословна, но немногословность ее на сей раз была не следствием ее отстраненности или поиска нужных фраз, а плодом ее задумчивости.

Когда после несвойственной семье Дербиных суматошной встречи, громких поздравлений, самые красноречивые из которых принадлежали Филиппу, все сели за стол, наступило более привычное сдержанное затишье, нарушаемое короткими фразами, исполненными высокомерной учтивости братьев Марфы, сублимально-любезной расположенности Алексина Тимофеевны и скромной заинтересованности Кирилла Георгиевича, и отчасти разбавляемое остроумными оборотами громкой речи мужа Агриппины и ответами на эти обороты Филиппа, который говорил тихо, но которого слышали при этом все. А Марфа следила за этим казавшемся ей вымученным диалогом, потому как – это стало бы ясно не только для Марфы, но и для всех собравшихся за столом, если бы они задумались над этим, как задумалась она, – все, собравшись волей случая вместе, говорили о чем-то пустом и несущественном, но по собственной воле никогда бы не заговорили друг с другом даже об этом, потому как все были людьми разными, далекими друг от друга, даже полярно-противоположными. И единственной точкой соприкосновения их служила Алексина Тимофеевна, прямо или косвенно устроившая судьбу каждого сидящего за столом и упорно теперь поддерживавшая бессодержательную беседу в приторно-правильном, великосветском направлении.

– Филипп, ты ведь ездил на этой неделе в Петербург? – обратилась Алексина Тимофеевна к Катричу, занятому приготовленной ею рыбой «по-гречески». – Твои проекты распространяются теперь и за пределами Москвы?

Филипп смущенно улыбнулся на последние слова Алексины Тимофеевны, которые были сказаны ею для того, чтобы подчеркнуть значимость и важность Катрича, а следовательно, значимость и важность самой Алексины Тимофеевны, бывшей его тещей.

– Мы строим в Петербурге галерею, в которой в будущем предполагается сдавать помещения под выставки зарубежного искусства, – сказал Филипп. – Строительство галереи началось около трех месяцев назад: уже заложен фундамент и началось возведение стен. Проект галереи принадлежит мне, но неожиданно появилась новость, что в него без моего участия внесены некоторые коррективы.

– Какая неудобная ситуация... – протянула Алексина Тимофеевна, со всем вниманием подавшись лицом в сторону Филиппа и сощулив и без того мелкие глаза. – Как же так могло получиться?

– Такое случается, – отозвался Филипп. – В ходе работ заказчик обращается к исполнителю с просьбой изменить проект, например, касательно этажности здания или же изменения конструктивных частей объекта, как, в частности, в нашем случае. Если исполнитель отвечает отказом на подобную просьбу, проект не подлежит корректировке. Однако наш заказчик обратился к другой компании, которая разработала новый проект на основе первого. Хотя в нем и указаны оба проектировщика, авторские права были явно нарушены, и мы намерены обратиться в суд с требованием о защите таких прав.

– Очень неудобно... – вновь, растягивая слова, произнесла Алексина Тимофеевна, будто эта фраза являлась самым красноречивым определением того положения, в котором оказался Катрич.

– Думаю, все скоро решится в нашу пользу, – сказал Филипп, мягко при этом улыбнувшись обратившимся к нему лицам сидящих за столом.

Наступила пауза. Марфе пришлось в голову сказать всем о проекте нового бизнес-центра, который, как рассказывал ей Зимин, планировался для продажи американской строительной компании, но она промолчала, хотя уже открыла было рот, чтобы сказать об этом. Во-первых, сам Катрич ничего не рассказывал жене об этом проекте, и у него возник бы вопрос, откуда она

знает о нем. Марфа могла бы сказать ему, что ей рассказал о проекте Зимин, но ей не хотелось о нем говорить. Ей казалось, что она тут же выдаст свое смятение при звуке этой фамилии, хотя она считала, что ни в чем не виновата перед мужем, потому как не совершила ничего дурного и достойного осуждения.

Во-вторых, Марфа никогда не хвалила мужа в обществе. Она вообще никогда и ни с кем не обсуждала его, считая это самохвалством и признаком гордости за него, которую она отнюдь не испытывала.

Филипп, всегда бывший внимательным к жене, заметил короткое движение головы Марфы, когда ту посетила мысль о проекте, и обернулся к ней, готовый выслушать любое ее изречение. Но Марфа вместо слов испустила только короткий вздох и слабо улыбнулась мужу. Она увидела, как взгляд Филиппа потеплел, как губы его в ответ растянулись в улыбке, и ей почему-то стало жаль его. Короткий миг, а Марфе показалось, будто кроется в этом миге что-то новое для нее, неуловимое и почти невозможное.

Внезапно сын Груши, сидевший на ее коленях, громко захныкал и тем самым привлек всеобщее внимание. Груша попыталась успокоить его, сунув ему в выставленные пятерней маленькие пальчики большую виноградину. Но мальчик не успокаивался, а только еще больше начинал плакать. На его розовых круглых щеках мгновенно появились крупные блестящие слезы.

– Унеси его, – вдруг прорезал плач малыша грубый мужской голос.

Это обратился к Груше ее муж, несколько минут назад фонтанировавший хлесткими шутками, а теперь неожиданно посуровевший и нахмурившийся.

Агриппина крепко прижала к себе ребенка, поднялась из-за стола и вышла из комнаты.

Все, будто ничего не случилось, продолжили свой обед. Только Филипп и Марфа несколько растерянно переглянулись, оба удивленные переменной, которая вдруг произошла в лице мужа Груши.

Из кухни, куда ушла Груша, несколько мгновений доносилось приглушенное хныканье ребенка, которое совсем скоро стихло. Марфа поднялась вслед за сестрой из-за стола и прошла на кухню.

Груша стояла у окна, качая на руках малыша, и приговаривала что-то. Войдя на кухню, Марфа плотно прикрыла за собой дверь. Агриппина не обернулась.

– Я бы оставила его дома, – сказала она, когда Марфа подошла к ней. – Только не с кем. – Агриппина вдруг вскинула голову и посмотрела на Марфу так, что той показалось, будто взгляд этот мог насквозь пронзить ее, точно копьё. – Может, и хорошо, что у тебя нет детей, – вдруг отстраненным голосом произнесла она. – Ты свободна...

– Что ты такое говоришь? – отмахнулась Марфа, испытав от этих слов сестры озноб.

– Бессмыслицу, – покачала головой Груша. – Не слушай меня. Я немного устала.

– Давай я побуду с ним? – предложила Марфа. – А ты иди. Я послежу.

– Нет, – не раздумывая ответила Агриппина, – не надо. Я сама.

Марфа осталась с сестрой. Взгляд Груши был пустым, холодным, и только при обращении на сына он немного теплел и появлялся в нем живой блеск, который почти совсем из него исчез. Марфа подумала, что ее сестра несчастлива, как и она. Быть может, Агриппина так же замечала в Марфе эту несчастливость, но ни одна из сестер не говорила другой о своем несчастье, считая, что никто этого несчастья не поймет.

Только когда мальчик уснул, Марфа уговорила Агриппину вернуться домой – отец не обидится, если Груша уедет раньше. Алексина Тимофеевна, конечно, была недовольна ранним уходом дочери, но отговаривать ее не стала, окинув только бесстрастно-осуждающим взглядом мирно спавшего внука.

Груша уехала; ее муж, лицо которого выражало суровое недовольство, последовал за ней. Марфе вспомнились ее мысли о ребенке. Ее сестре появление ребенка не принесло счастья. Быть может, действительно было к лучшему, что у нее не было детей.

Мужчины вышли на просторную лоджию, чтобы выкурить по сигарете (Марфа знала, что Филипп не курил ни под каким предлогом), а Марфа помогала матери убрать со стола.

– У Груши болезненный вид, – сказала Марфа, оставшись с матерью наедине. – Ты не заметила?

– С чего бы ему взяться? – откликнулась мать. – Растить детей нелегко, – тоном превосходства сказала она. – Я подняла вас четверых, а у нее он один. Справится.

– Может быть, дело не в ребенке? – предположила Марфа, у которой несчастный вид сестры вызвал искреннее беспокойство.

– А в чем же еще? – вскинула тонкие дугообразные брови Алексина Тимофеевна.

Марфа ничего не ответила, в который раз утвердившись в том, что ее мать никогда не поймет жалоб, которые не имеют под собой четко аргументированного основания.

Не услышав ответа, Алексина Тимофеевна, вытиравшая в это время посуду, замерла с тарелкой и полотенцем в руках и внимательно посмотрела на дочь, которая вспененной губкой полировала блюдце.

– Ты считаешь меня слишком требовательной, правда? – услышала Марфа на удивление мягкий голос, даже заставивший ее перестать полировать блюдце и, дабы убедиться в том, что голос действительно принадлежит матери, поднять глаза на Алексину Тимофеевну.

– Нет, мама, – ответила Марфа, помедлив. – Просто с тобой трудно дать волю чувствам.

Алексина Тимофеевна поставила на столешницу тарелку, которую держала в руках, отложила полотенце и подошла к Марфе. Непривычно Марфе было стоять близко к матери так, что даже видно было каждую морщинку на ее лице, тонкие карандашные линии на верхних сморщенных веках, блеклые радужки на выцветших зрачках и брови, на которых виднелись комочки от карандаша. Губы у матери были тонкие, упрямо сомкнутые, как и у ее сыновей.

– Я учила вас никогда не жаловаться, – сказала Алексина Тимофеевна все тем же мягким голосом, насколько возможно было говорить им человеку, не привыкшему к такой интонации. – Я учила вас трезво смотреть на жизнь, которая редко позволяет уступать воле своих чувств. Но все это вовсе не значит, что чувств ваших я не пойму. Вам не на что жаловаться, Марфа. Вы не знаете, как бывает...

Алексина Тимофеевна вдруг осеклась. Марфе даже показалось, что глаза матери вдруг увлажнились. Но мать тут же отвела свой взгляд, отступив на два шага от дочери и вернувшись к тарелке, которая уже была сухой.

– Филипп создал проект для продажи его какой-то американской компании, – зачем-то сказала Марфа, скорее для того, чтобы перевести тему разговора. Мысль о проекте мужа была единственной, которая посетила Марфу в тот момент, и наиболее подходящей для того, чтобы хоть как-то заинтересовать мать.

– У вас с Грушей хорошие мужья, – лаконично заключила Алексина Тимофеевна.

Этот короткий разговор с матерью не изменил убежденности Марфы в том, что ее мать была сухой, бесстрастной, властной женщиной, которая жизнь всех окружающих ее людей выстроила для блага себе, но не для их собственного. Быть может, это их «добропорядочное» воспитание и благоприятно сказалось на судьбе сыновей, но дочерям трудно было жить под гнетом воспитанного в них чувства долга перед кем угодно, но только не перед собой.

Вернувшись домой, Марфа почувствовала облегчение. Давно уже семейство Дербиных не собиралось вместе, и теперь, после короткого путешествия в ту жизнь, где формировалось ее сознание, и возвращения в ту, где она была предоставлена самой себе, Марфа испытывала чувство освобождения.

Вечером того дня, когда Филипп был в своем кабинете, Марфа решила спуститься в подвальное помещение, где находилась мастерская Катрича.

Здесь стояли бумажные макеты зданий, на полу лежали какие-то свернутые свитками листы, чуть дальше темнел гончарный круг; на деревянных стеллажах стояли глиняные горшки и небольшие глиняные и гипсовые скульптурки. Несколько незавершенных скульптур стояло в углу и одна целая скульптурная группа, накрытая сверху полотном. Здесь же стоял массивный деревянный стол с разложенными на нем инструментами для лепки из глины и гипса, альбомами, чертежами и настольной лампой.

Помещение было тускло освещено светильником, что висел над входом. Марфа не стала включать верхний свет. Она осмотрелась. Несколько месяцев Марфа не заходила сюда. Быть может, даже около года. Мастерская всегда напоминала ей о муже и о тоске, которая неотступно следовала за ней. Но теперь тоски как будто не было, а воспоминание о муже больше не угнетало ее. Напротив, Марфа испытывала в тот вечер к Катричу чувство, похожее на интерес, смешивающийся с сожалением. Кого именно было жаль ей – Филиппа, с которым она всегда была резка, время, которое она потратила на порицание своей судьбы, или себя, заблудившуюся среди осколков предрассудков и сомнений, – она не знала, но чувство это все больше наполняло ее. И сожаленье это достигло такого значения, что больше не могло уместиться в ней.

Фигурки, стоявшие на стеллажах, показались ей уродливыми. Марфе тут же вспомнился обед, стол, за которым все сидели с самым скучающим видом и добросовестно вели принужденные беседы, лица, такие же вот ненастоящие, искусственные, с застывшими на них масками предрассуджений. Марфа взяла с полки одну из фигурок. Застывшая девица была вылеплена из глины. Она замерла в неестественной позе и позой этой раздражала Марфу, так что Марфа запустила ее в угол. Ударившись о стену, фигурка разбилась.

Звук этот, глухой и в то же время острый, принес Марфе неожиданное успокоение. Но не прошло и нескольких секунд, как иступленное беспокойство вновь овладело ею.

В порыве отчаяния, не отдавая себе отчета в своих действиях, Марфа стала сбрасывать со стеллажей стоявшие на них фигурки, кувшины, вазы, горшки, вслед за которыми полетели и пласты с гипсовой лепниной, служившие образцами отделки фасадов, стен и потолков. Скульптуры бились о бетонные стены, и шум этот, гудящий, осколками отлетающий от стен, отзывался в Марфе звонким эхом.

Филипп, услышав шум, не сразу понял, откуда он доносится. Острый звук, похожий на стук маленького молоточка, бывшего во власти слабой руки, не прекращался. Катрич поднялся из-за рабочего стола и, перейдя широким шагом кабинет, распахнул дверь и вышел в коридор. Подойдя к лестнице, он оперся на перила и поднял голову вверх, прислушиваясь. Звук шел снизу, будто кто-то пытался забить гвоздь в бетонную стену подвала дома. Филипп неспешно спустился на первый этаж. Вход в мастерскую находился под лестницей. Дверь, ведущая в подвальное помещение, была открыта, и Филипп понял, что звук доносится из мастерской.

Когда Филипп спустился по слабо освещенной лестнице в мастерскую, то в первое мгновение он не смог оценить масштаба того, что предстало его глазам.

Резкий, пронизывающий звук издавали разбивающиеся скульптуры и гипсовые макеты, которые Марфа в порыве безотчетного отчаяния, с силой, что уже едва теплилась в ее ослабевшем от приступа истерики теле, сваливала с полок и опрокидывала на бетонный пол. Мастерская была разгромлена, а Марфа, раскрасневшаяся, жалкая и одинокая на фоне развороченных скульптур, будто уменьшилась вдвое и выглядела отнюдь не как склонная к истерикам женщина, а как несчастный, оставленный всеми ребенок, который потерял что-то ценное, значимое для него и теперь никак не мог этого найти.

Филипп быстро пересек мастерскую и подбежал к жене, остановив ее занесенную над головой руку, в которой она держала вылепленную когда-то ею же самой тонкую, нескладную вазу. Марфа поддалась воле руки мужа и, словно не замечая его самого, будто не Катрич, а

невидимая сила заставила ее остановиться, опустила свою занесенную руку, нащупала ею стол и, положив на него спасенную вазу, закрыла лицо руками.

Филипп обхватил ладонями содрогающиеся плечи жены и увлек ее к столу. Марфа прислонилась к краю стола и продолжала крепко прижимать ладони к своему лицу. Она не издавала ни звука, а вдруг притихла, и только грудь ее конвульсивно вздрагивала от прерывистого дыхания. Мастерская погрузилась в безмолвие, которое казалось неестественным после того крушения, которому она подверглась.

Катрич крепко обнял жену, прижав ее к себе. Пальцы его чувствовали под собой твердую, вздрагивающую спину Марфы, которая через четверть минуты отняла от лица руки и обвила ими шею Филиппа. Катрич почувствовал подбородком мокрую от слез щеку жены.

Они стояли так, крепко обнявшись, на протяжении нескольких минут, пока дыхание Марфы вновь не стало ровным, а слезы не высохли на ее щеках. Только когда Марфа поняла, что вновь может говорить, она едва слышно произнесла:

– Прости меня...

В ответ Филипп только крепче прижал ее к себе.

– И ты прости меня, – немного погодя сказал он.

Марфа отняла голову от его щеки и заглянула в темные глаза мужа. Взгляд ее, влажный, утомленный, проникнутый глубокой печалью, осветился недоумением.

– За что? – непонимающе прошептала она.

Катрич обвел взглядом лицо Марфы, нежно коснулся пальцами ее лба, проведя ими вниз, к самой ее щеке, и сказал, с раскаянием, как говорят о том, о чем долго сожалели, молчали, но много размышляли:

– За то, что ты несчастлива со мной.

Эти слова мужа, преисполненные горечи, заставили Марфу испытать удушающее чувство благодарности, которое неожиданно родилось в ней и удивило ее.

– Зачем ты женился на мне? – спросила Марфа, вложив в эти свои слова весь пыл прожитых в этом вопросе дней, но не придав им оттенка осуждения, – напротив, вопрос этот таил в себе только благоговейный трепет перед наполненным нежностью взглядом Катрича.

– Я хотел любить тебя, – ответил Филипп, произнеся эти слова тихо, со всей своей смиренной, потаенной страстностью.

– Ты любишь меня?

– Я люблю тебя, – сразу же отозвался Филипп.

– За что ты любишь меня? – Марфа нахмурилась, как хмурятся тогда, когда пытаются разобраться в запутанной головоломке, которая никак не поддается разгадке.

– За то, что встретил тебя, – сказал Филипп, – за то, что заговорил с тобой, за то, что ты доверилась мне.

– Разве за это можно любить? – удивилась Марфа.

– Любить можно только за одно то, что человек просто живет.

– Но я ничего не даю тебе... – покачала головой Марфа.

На эти слова жены Катрич обхватил ее лицо руками и притянул к себе, заглянув в глубокие янтарные глаза.

– Позволь только любить тебя, – сказал он. – Только позволь...

Марфа вдохнула эти слова – при этом губы ее дрогнули, раскрылись и втянули пыльный воздух мастерской. Она положила свои ладони поверх пальцев Филиппа, касавшихся ее волос, и обвела взглядом скуластое, загорелое лицо своего мужа, – лицо, которое единственное казалось ей свободным от застывшей маски потаенных чувств и сокрытых стремлений, внушенных другими. Оно было живым, подвижным, одухотворенным, а темные глаза, которые горели на нем, – преисполненными света, что представлялся ей единственным источником освещения

в ее наполненном тьмой царстве восковых фигур, который позволял ей все еще чувствовать в себе жизнь.

Марфа слегка подняла голову и приникла своими губами к горячим губам Филиппа, сначала едва касаясь их, а потом с все возрастающей страстностью впиваясь в них поцелуем. Она опустила руки и обхватила пальцами пояс мужа, привлекая его ближе к себе. Филипп провел ладонями вниз по шее Марфы, коснувшись ее ключиц, плеч, рук, потом прижал ее к себе, обхватив ее своими сильными руками, приподнял и посадил на стол, смахнув с него осколки разбитых скульптур и макетов.

Никогда еще Марфа не испытывала этого лишнего всякого отчаяния самозабвения, наводненного только свободной, утратившей всяческие предрассуждения и сомнения любовью. В тот вечер она испытывала неистощимую благодарность, граничившую со страстью. Но страсть не являлась только плодом желания, удовлетворить которое было главной потребностью всего ее существа, принимавшего и впитывавшего в себя все пылкие ласки мужчины, — страсть эту породило стремление узнать, почувствовать, испытать то, что она никогда не находила в себе и что рваными клочками все же теплилось в ее душе, скрываясь под толстым слоем пепла выжженных безвольностью чувств. В один короткий, фантастичный миг этого упоенного, пламенеющего порыва, развернувшегося на обломках разбитых фигур прошлого, Марфе показалось, что она чувствует в себе это жгучее, благодарное, не просящее и жертвенное чувство — любовь...

IV

Филипп, озабоченный беспокойным состоянием жены, предложил ей съездить на несколько недель в пансионат, который находился в горах Алтая и был известен Катричу потому, что его владельцем был давний друг его отца.

Марфа, которую возможность уехать на время из Москвы искренне обрадовала, согласилась с предложением мужа, но поставила условие: она не поедет в пансионат без него. Однако состояние дел Катрича, продиктованное сложностями в устройстве строительства петербургской галереи и требовавшее скорейшего разрешения, не позволяло ему поехать в пансионат вместе с Марфой: в тот момент времени он не мог позволить себе оставить разрешение спора об авторстве проекта без личного контроля и уехать на Алтай. Разрешение же этого спора могло растянуться на неопределенное время, и откладывать поездку Филиппу представлялось бессмысленным. Он говорил жене, что ей было бы лучше поехать без него, но, если дело все же разрешится до ее возвращения, он придет к ней и вместе они проведут в пансионате еще некоторое время.

Марфа, которую вдруг прекратили раздражать уступчивость и мягкость мужа и в которой открылась вдруг благодарность к нему и, если не абсолютное почитание, то направленность ее чувств к нему в сторону признания его главенства в ее жизни и безраздельности его положения в ее сердце, хотела еще раз испытать тот миг упоенного самозабвения, когда приоткрылось в ней всеобъемлющее чувство любви, и как можно дольше продлить его, и чтоб основанием ему служили не осколки разбитых ею в порыве охватившего ее отчаяния глиняных фигурок и гипсовых скульптур, а безмятежность окружающей их обстановки, удаленность от чуждых ее сердцу, сокрытых масками лиц и стен, напоминавших ей медленно уходящие в небытие, но все еще холодными обломками жившие в ее душе дни тоски и томления, слепоты и немоты ее сердца, что теперь слабо трепетало в груди, лениво вдыхая пламенные проявления любви человека. Нежная печаль охватывала Марфу при мысли о расставании с мужем, но в то же время светлая радость наполняла ее, когда она представляла себе, как уедет из этого города, как будет недостижима для сухих звонков матери и несчастного вида сестры, как избежит встречи с Зиминым, который наверняка на неделе заедет к ним, и как будет совсем одна, но не одинока, как была она все эти долгие годы, но в уединении, потому как теперь в ней жила любовь человека, осознание этой любви и принятие ее.

Марфа улетела на Алтай утренним рейсом в понедельник. Катрич отвез ее в аэропорт, где они долго прощались, будто хотели вложить в последние минуты перед разлукой всю накопившуюся в них за прожитые дни и годы нежность, которой оба в разной степени были раньше лишены.

Они мало говорили – обоим казалось, что сказано было довольно, но сделано и выражено очень мало, и все, что было сделано и выражено, не то; что есть что-то, что очень хочется показать, донести до другого, но не находились ни слова, ни действия для этого проявления, и Катричи только крепко держались за руки, будто одно лишь это прикосновение могло донести до другого всю сущность испытываемых обоими чувств.

Потом Марфа ушла. Сидя в самолете и глядя в иллюминатор на взлетную полосу, здание аэропорта, его служащих, которые никуда не летели, а оставались здесь, в этом городе, она испытывала только скользкую отстраненность, будто уже сейчас, ступив на борт самолета и не касаясь больше атмосферы Москвы, она не была здесь, не принадлежала событиям, которые были связаны с этим городом, не знала людей, которые жили в нем, и никто не знал о ней, словно ее никогда и не было. Ее жизнь, пустая, безлика, ничем не примечательная, едва различимая среди сотен, тысяч других, представлялась только мифом, который совсем скоро

развеется среди густой пелены облаков. Самолет наберет высоту, сокроется город за толстым слоем дыма, исчезнет сплетение улиц и беспорядочное движение машин, затеряется лабиринт дворов, сгладится вся рельефность привычного мира, и все превратится в округлую плоскость. И не будет тогда никаких разделений, и у мира, маленького, уязвимого шарика, лежащего на ладони Вселенной, будет только два лица: рыхлая почва земли, пестрым взыскательным глазом смотрящая снизу, и прозрачный, безграничный небосвод – убежище воззваний и воздаяний...

Пансионат «Яшма» располагался на берегу зеркально чистого, голубого озера, в котором отражалась купель зеленых склонов гор, со всех сторон окружавших его поросшими кедрово-пихтовыми лесами крутыми склонами и заснеженными, точно укрытыми опустившимися на них облаками, каменистыми, неприступными вершинами. Пансионат считался одним из самых комфортабельных и благоустроенных пансионатов Алтая. Уединенность его местоположения, виды, открывавшиеся из всех окон пятиэтажного деревянного особняка, построенного среди живописных долин и горных хребтов, большая территория с собственной конюшней и пирсом, выходящим в голубое зеркальное озеро, с пришвартованными у него белоснежными катерами, террасы, где по вечерам устраивались концерты, на которых играли на шооре, икиле, топшуре и множестве других инструментов, а также сами номера пансионата, с гостинными, спальнями и большими балконами, на которых особенно чудесен был поздний завтрак и травяной чай перед сном, делали пансионат привлекательным для тех, кто устал от городской суеты и мог позволить себе провести несколько недель в гармонии с природой и с самим собой, а главное – со своим кошельком, потому как в пансионате отсутствовали номера класса «стандарт».

Из аэропорта, в котором самолет приземлился около четырех часов дня по местному времени, новоприбывших постояльцев пансионата довозили на микроавтобусе до небольшого поселка, путь до которого занимал в среднем полтора часа, а уже из поселка их доставляли на вертолете до самого пансионата. В целом путь от аэропорта до пансионата составлял чуть больше двух часов, так что Марфа добралась до него только к вечеру.

Номер ее, состоявший из небольшой прихожей, маленькой, но уютной гостиной, спальни, ванной комнаты и, конечно, просторного балкона, находился на четвертом этаже особняка. Номер был просто обставлен: несмотря на этно-стиль, в котором был выполнен весь пансионат, номер не был перегружен пестротой узоров и яркостью цветов. Напротив, мягкие узорчатые ковры на паркетном полу, разноцветные крапчатые подушки на диване и плетеных креслах, пышные шторы, напоминавшие свод шатра, и свежие цветы в вазе, стоявшей на квадратном деревянном столике у самого окна в гостиной, создавали атмосферу уюта и какой-то особенной душевности, совершенно лишенной всякой строгости и холодности. На стенах в гостиной висело несколько войлочных картин с изображениями различных сцен из мифов. Оранжевый свет заходящего солнца окрашивал номер в персиковые тона, отчего он казался еще более уютным. А из широкого раскрытого окна, с самых гор, что неоглядными долинами и необозримыми вершинами протянулись до самого горизонта, дул теплый душистый ветер, пахнувший цветами и этим самым необъятным простором.

Поблагодарив белл-боя, Марфа закрыла за ним дверь, сняла с головы широкополую шляпку и, положив ее на невысокий комод у двери, глубоко вздохнула. Глядя на желтые дорожки лучей заходящего солнца, стелившиеся по пестрым коврам на полу, на плетеные кресла, цветы, на сами горы, что виднелись в раскрытое окно, на зеркальную гладь озера, что слезой блестело в сомкнутых ладонях склонов, Марфе казалось, что впереди у нее не несколько недель умиротворенной, гармоничной тишины, которой никогда не было в ее невысказанной, безмолвной жизни, а целая жизнь, новая и многословно-безгласная.

Стояли теплые, ясные дни. Днем температура воздуха достигала двадцати шести градусов тепла, однако жара не была томительной и душной, – в горах ощущалось настоящее знойное лето, наполненное ароматами разнотравья и свежестью горных вершин.

Особенно хорошо было в тени сосновой рощи, что зеленела чуть в стороне от пансионата, на пологом склоне холма. Здесь расплзались среди высоких сосен пестрые, укрытые мозаикой солнечных лучей аллеи, на которых стояли скамейки, где приятно было провести послеобеденный час.

Но не только безмятежность дней привлекала сюда туристов, не только манящий вид гор и озер, открывающийся взору из раскрытых окон, и мерное звучание казахских мотивов по вечерам в сопровождении душистых вин и ароматного бешбармака, но и возможность окунуться в самую колыбель нетронутой природы, только выбрав тот или иной вид экскурсии или похода, которые предлагались здесь в большом количестве и разнообразии.

Первые три дня своего пребывания в пансионате Марфа провела на его большой территории, изредка покидая ее пределы верхом на черногривом скакуне. В сопровождении наездника, восседавшего на серой алтайской лошади, Марфа выезжала в степь, где конь, чувствуя свободу, подстрекаемый призывами наездницы, галопом рассекал летящие навстречу потоки ветра.

Однажды, после одного такого выезда, во время обеда, который проходил на открытой веранде ресторана, расположенного на первом этаже особняка, к Марфе, в одиночестве сидевшей за круглым, укрытым белоснежной скатертью столиком и отпивавшей из широкой чашки чай с талканом, подошел невысокий, коренастый мужчина, с черными глазами и совершенно седыми короткими волосами, венчавшими его смуглый, упрямый, испещренный частыми морщинами лоб, и представился Марфе как Бектуров Елен, старый друг Ильи Дмитриевича Катрича, отца Филиппа, и владелец этого «арагонита¹ в жемчужине края», как сам он назвал свой пансионат.

Бектуров любезно спросил у Марфы, нравится ли ей в «Яшме» и нет ли у нее каких-либо пожеланий, на что Марфа, по своему обыкновению, уважительно и ласково улыбнулась ему и сказала, что ей очень нравится здесь и что в пансионате есть все, чего только может желать человек, задавшийся целью отдохнуть от суеты и беспокойства города. Она выразила свое восхищение красотой местных пейзажей, гармоничным сочетанием диковинности края и уклада жизни в пансионате, а также рассказала о своих выездах верхом, со сдержанной живостью описав чудесность степей и вершин, венчавших горизонт.

– Как поживает Илья Дмитриевич? – осведомился Бектуров, отодвигая стул. – Позволите? – Он опустился на светлую седушку и вопросительно посмотрел своими черными глазами на Марфу. – Мы давно не виделись с ним. – Бектуров задумчиво сузил глаза. – Последний раз – году эдак в девяносто седьмом. Тогда он уже работал техническим директором... Как же его... «Шахтстройпром» – так, кажется. – Бектуров откашлялся. – Да-а... – протянул он. – Давно это было...

Ответ на вопрос об отце Филиппа являлся для Марфы в некоторой степени затруднительным – за три года жизни с мужем Марфа видела Илью Катрича всего два или три раза, при том что жили родители Филиппа не в каком-то другом городе, а в самой Москве. Насколько Марфа знала, у Филиппа с отцом были сложные отношения, – Филипп уважал отца, горного инженера, который всю свою жизнь занимался разработкой угольных месторождений и проектированием угольных тоннелей и шахт, и любил его той машинальной любовью, которой все дети при любых обстоятельствах любят своих родителей. В чем же заключалась сложность отношений между отцом и сыном, стороннему наблюдателю трудно было определить, а сам Филипп, говоря об отце, никогда не выказывал хотя бы малой доли неуважения или какой-

¹ Минерал, содержащийся в составе жемчуга.

то обиды по отношению к нему. Марфа слышала из уст мужа исключительно положительные характеристики его матери и отца и всегда считала свекра человеком недюжинного ума и силы духа, а свекровь – образцом мудрой жены и терпеливой матери, и если не любила их (по причине редких встреч и собственной рефлексорной бесстрастности), то уважала обоих.

Илья Катрич был человеком сдержанным, немногословным, с суровым, сосредоточенным, будто в застывшей на нем когда-то маске задумчивости, лицом. Говорил он кратко, спокойно, сухо, а глаза его выражали совершенную определенность и четкость его мысли, однако губы его, единственно подвижные на состарившемся уже лице (в две тысячи четырнадцатом году Илье Дмитриевичу исполнилось шестьдесят семь лет), придавали выражению его то оттенков настойчивого упрямства, то одобрительного согласия, то невозмутимого довольства. Илья Дмитриевич был человеком горделивой осанки, прямого взгляда и краткости, но твердости выражений, однако к сыну он относился с тем трепетом и вниманием, которые мгновенно стирали с его сухого и упрямого лица всякие оттенки невозмутимой одобрительности. Казалось, Илья Катрич готов был исполнить любую просьбу своего сына, однако Филипп никогда не отвечал на трепетный взгляд отца готовностью внимать его отцовским ласкам, – в те разы, когда Марфа видела Илью Дмитриевича и могла наблюдать общение его с сыном, она замечала в Филиппе некую отстраненность по отношению к отцу, будто он хотел избежать этих проявлений отцовской ласковости и внимания. А Илья Дмитриевич будто вовсе не замечал этой отчужденности сына, воспринимая его сдержанность и даже, в некоторых случаях, неприветливость как должное.

Мать же Филиппа, Айсель, черноволосая, с такими же, как у сына, чуть раскосыми черными глазами, еще красивая женщина пятидесяти шести лет, была обладательницей мягкого, но твердого характера и веселого нрава, который делал их семью в глазах других благополучной и по-тихому счастливой.

Айсель родилась и выросла в Казахстане, где, будучи восемнадцатилетней девушкой, познакомилась с молодым инженером казахстанской угольной шахты, Ильей Катричем, направленным за пять лет до этого, по окончании шахтостроительного факультета петербургского института, практиковаться в Казахстан. Упрямый, напористый, трудолюбивый, уверенный в себе, Илья Катрич быстро освоил горное дело и завоевал доверие руководства шахты. В тридцать лет он стал главным инженером угольной шахты, в которой в общей сложности проработал около десяти лет. Затем семья Катричей, в которой уже рос годовалый Филипп, переехала сначала в Красноярский край, где Катрич-старший долгое время работал техническим директором в том самом «Шахтстройпроме», а потом в Кемеровскую область, где Илья Дмитриевич, устроившись в шахтостроительную компанию, стал разрабатывать проекты строительства новых шахт. В Москву Катричи приехали только в две тысячи девятом году вслед за сыном, который учился здесь, а теперь и работал.

За сорок лет Илья Дмитриевич Катрич успешно реализовал значительную часть своего неисчерпаемого потенциала, считал себя человеком, состоявшимся в этой жизни, небезуспешным, и оттого был несколько горделив и требователен. Вопреки примеру отца, Филипп не стал продолжать династию горных инженеров и поступил на инженерно-архитектурный факультет университета. Илья Дмитриевич гордился и собой, и сыном, успехи которого менее радовали самого Филиппа, нежели восторгали Катрича-старшего.

Как оказалось, Елен Бектуров в девяностые годы занимал должность директора одной из построенных при участии Катрича угольных шахт, и между ними сложились приятельские отношения. К тому же Бектуров знал и семью Айсель. Таким образом, складывалась довольно приятная и располагающая картина дружеских отношений между людьми, отделенными друг от друга десятками километров и сохраняющими даже по прошествии большого количества времени теплые друг к другу чувства.

Марфа не стала вдаваться в подробности редких встреч сына и отца, а тем более – снохи со свекром, и потому ограничилась коротким и тихим ответом, содержащим в себе уверение, что Илья Дмитриевич живет хорошо, здоровствует. Бектуров был этим ответом вполне удовлетворен.

Задав Марфе еще несколько несущественных, формальных вопросов о делах Филиппа, о здоровье Айсель и о занятиях самой Марфы, которая кротко рассказала ему о своих учениках, Бектуров спросил, брала ли Марфа какой-нибудь из предлагаемых в пансионате туров. Отрицательный ответ Марфы очень удивил Бектурова.

– Советую вам взять пеший тур в горы, – заметил он, сказав это тоном знатока. – Получите необыкновенное удовольствие!

Еще несколько минут Бектуров рассказывал Марфе о наиболее безопасных и красивых тропах, по которым он ходил сам и по которым он рекомендовал пройти и ей, чтобы в полной мере ощутить те единение и цельность, которые приносят такие прогулки в душу и воображение человека, а после – удалился, вручив Марфе визитку с номером своего телефона и попросив ее звонить ему в любое время дня и ночи, если ей что-нибудь понадобится.

Марфа поблагодарила за оказанное ей внимание, взяла визитку и, провожая взглядом удаляющегося Бектурова, решила на днях отправиться в пешее путешествие в горы.

V

Помимо Марфы в пансионате отдыхало еще около двадцати пяти человек. К завтраку в ресторан спускались не все – многие предпочитали завтракать на балконе в своем номере. В обед же в ресторане было больше людей, и Марфа с интересом рассматривала их, потому как были в пансионате постояльцы, которые невольно привлекали ее внимание.

Одним из таких постояльцев был седобородый старик в светлом летнем костюме и канотье, которое при входе в ресторан он непременно снимал. Старик этот, бодрый, худощавый, с загорелым лицом, на котором особенно выделялись седая, аккуратно подстриженная борода и венчавшие лоб совершенно белые волосы, привлекал к себе внимание Марфы тем, что, как ей казалось, он вел неспешную, продуманную, уравновешенную, но не безликую жизнь. Это выражалось в мерности его твердых шагов, в спокойном взгляде серых глаз, в лице, которое никогда не покидало миролюбивое, даже веселое выражение. Старик был всегда приветлив с обслуживавшими его официантами, с детьми – в пансионате отдыхала молодая семья с тремя непоседливыми малышами, возраст которых колебался от четырех до восьми лет, – которые часто, не слушая пытавшихся усмирить их родителей, бегали между столиками; с самими постояльцами пансионата, с некоторыми из которых он уже успел познакомиться.

Казалось, старик никогда не раздражался, никогда не был в дурном расположении духа, а всегда был жизнерадостен и весел. Часто в сосновом парке Марфа видела, как старик, прогуливаясь по аллеям, заложив при этом руки за спину и скрестив замком пальцы, неоднократно останавливался и рассматривал то верхушки сосен, смыкавшиеся над его головой, то частокол стройных стволов, то всматривался во что-то невидимое среди раскидистых ветвей, при этом как-то по-особенному добродушно улыбаясь. Марфа думала, что если бы такой старик встретился ей в Москве, то она непременно приняла бы его за сумасшедшего, но здесь его радость и веселость казались совершенно естественными, гармоничными. Опрятность его одеяний, чистое, ухоженное лицо, спокойность его и веселость располагали Марфу к нему, и Марфа вслед за стариком неосознанно перенимала это его жизнелюбие, разбавляя медлительность и несуетливость своего естества приятием солнечности и необремененности дней, впитавших в себя хвойный аромат свободы и неторопливости. Пусть жизнь Марфы никогда нельзя было назвать суетной и наполненной трудностями быта или выживания в стремлении обеспечить себя, но и не была ее жизнь лишена горечи становления личности, ее развития, пусть медленного, но неотвратимого. Несмотря на идилличность ее дней, Марфа никогда не испытывала мирности в своей душе и умиротворенности, – в ней была одна только бездонная пустота, в которой иногда блестели переливы тоски.

Теперь же, наблюдая за стариком и безотчетно вглядываясь в пространство с теми же заинтересованностью и воодушевлением, с какими он смотрел вокруг, Марфа находила дни не бесцельными и бессодержательными, а исполненными прелести игры едва уловимых событий, которые происходили вокруг нее и которые еще будут происходить.

И в этом необъяснимом душевном подъеме, еще совсем пологом, но уже зародившемся в ней, Марфа часто вспоминала Филиппа, и ей становилось еще радостней от этих воспоминаний, особенно тех, которые были связаны с первыми месяцами знакомства с ним и первыми неделями супружества, еще не покрытыми пластом ее досадливости и сердитости. И в душе ее пробуждался отзвук раскаяния: Марфа как будто впервые увидела свою прежнюю жизнь – ту, которая была у нее до встречи с Филиппом; будто впервые она разглядела и ту, которая была у нее теперь, когда она была женой человека, который любил ее и безропотно принимал все ее легкомысленные, эгоистичные капризы; словно только теперь она постигла различия их, заметила их разность и совершенное несходство, и осознание того, что именно Филипп заставил оживиться в ее душе бывшие там фрагментарно частицы того, что единственное делает жизнь

осязаемой, вынудило ее испытать подобие стыда. Она испытала что-то схожее с покаянием и радовалась тому, что теперь, когда в сознании ее целостность разрозненной ее жизни разорвалась на отдельные, неделимые теперь фрагменты, она будет жить по-другому, жить в согласии с тем, что составляет ее жизнь, не сетуя больше на фатальность своей судьбы. Пусть решения эти принимались порывисто и бездумно, но они принимались, и обещания, дававшиеся далеким воспоминаниям о радостных днях, оставляли в ее душе свежее, подобно заре, послевкусие.

Однако не только за седовласым стариком в канотье с интересом наблюдала Марфа.

Были среди постояльцев пансионата мать и дочь, которые всегда занимали столик, стоявший у самого ограждения веранды, рядом со столиком, где обычно сидела Марфа. С веранды просматривались выступившие ровным пирамидальным рядом горы, между собой образующие подобие громадного оврага, протянувшегося к самым теряющимся в дымке полуденного солнца вершинам далеких гор. Вид этот захватывал и умиротворял одновременно, и даже казалось, будто этот пейзаж был вовсе не настоящим, а только громадным полотном, натянутым за рядом соснового перелеска.

Поначалу Марфа обратила внимание на этих двух постоялиц только потому, что у девушки были темно-медного цвета вьющиеся волосы, ниспадавшие на ее белые, не тронутые загаром плечи и спускавшиеся к самой талии. Лицо ее также было незагорелым, но от облепивших его веснушек оно не казалось бледным. Девушка эта напомнила Марфе племянницу ее горничной, с которой она занималась когда-то русским языком.

Марфа не находила девушку ни красивой, ни миловидной, однако девушка невольно притягивала к себе взгляд Марфы: то ли ее исполненные женственности манеры привлекали к себе внимание; то ли умение держать вилку в усыпанных веснушками пальцах так, что невольно возникало желание попробовать то, что ела она; то ли это объяснялось самой живостью в светлых, почти бесцветных глазах девушки, у которой вид был совершенно смиренный, однако исходила от нее та особая энергетика, которая присуща людям исключительной предприимчивости и решительности. И Марфа смотрела на нее с тем интересом, с каким смотрят на тех, кто обладает тем, чем хотелось бы, но не представлялось возможным обладать самому.

Затем, посредством каждодневного созерцания их обедов, у Марфы сложилось совершенно определенное представление о тех дружеских, почти товарищеских отношениях, которые были между матерью и дочерью.

Матери на вид можно было дать чуть больше сорока лет. У нее, в отличие от дочери, было загорелое лицо и темные глаза, и только темно-медный цвет волос и частые веснушки на руках были точно такими, как у ее дочери.

Мать и дочь всегда приходили в ресторан вдвоем, вдвоем сидели за столиком, вдвоем гуляли по парку и выезжали на экскурсии. Они ни с кем больше не общались и только, понизив голос, едва слышно говорили друг с другом, то весело смеясь чему-то, то сосредоточенно ведя какую-то беседу. И то, как искренен был их смех, как доверителен был их взгляд, направленный друг к другу, как схожи были их лица, как сочетались между собой их одежды, пробуждало в Марфе невольную ревность и к этой их доверительности, и к сплетению их рук во время прогулок, к обедам в обществе друг друга и к разговорам, едва слышанным ею сквозь дыхание безучастного ветра.

Марфа смотрела на них, и вид их, счастливых, любящих, отдающих и принимающих эту любовь, поначалу так поглощавший ее внимание, скоро стал омрачать ее обеды. При виде той любви, которую мать отдавала дочери, и той участливой нежности, с какой дочь смотрела на мать, Марфе становилось тошно от того, что она, проецируя эту сцену на свою жизнь, не находила в ней даже подобия этой милой взору миниатюре. И Марфе делалось грустно, одиноко, и вновь тоска прокрадывалась в ее сердце, и скоро Марфа больше не обедала в один час с ними, а уходила до того, как мать и дочь спускались в ресторан.

Так Марфа впервые почувствовала тлевшие самую малость в ней, а теперь разгоравшиеся все больше обиду и огорчение.

Обида, появившаяся в ней, была направлена в первую очередь к матери. Вид чужой материнской нежности впервые пробудил в ней волну раздражения, и Марфа поначалу даже не понимала, почему образ совершенно незнакомых ей людей так обижает ее. Затем в Марфе едкой горечью стало расплзаться огорчение – она вспоминала свое детство, свое юношество и не находила в них ни одной должной минуты, исполненной ласкового голоса матери или отца. В ней медленно, но верно, нарастало обвинение: в недолжном обращении с собой, в холодности и нечуткости родителей, в их повелительности и даже деспотизме. Теперь Марфа больше не корила свою судьбу, не сетовала на неподвластные ей события, приведшие ее к тому одиночеству, которое особенно остро она ощущала в последние три года; в сознании Марфы все больше поднимался упрек, плотным стеблем произрастая из искаженных обидой и порицаниями воспоминаний, и упрек этот с каждым днем становился все сильнее и крепче, и не находилось ни одного события, ни одного жеста родительского, который мог бы оправдать то, кем являлась Марфа теперь, – оправдать равнодушие, бесстрашие и совершенную душевную мертвость, которым Марфа не находила точного определения, но ощущала их несомненное присутствие в своей сущности; присутствие это было не поверхностным касанием оболочки ее естества, но более глубоким, едва ли не фундаментальным основанием ее души.

Таким образом, в Марфе обозначилось единение радости и почти фанатичного душевного подъема от осознания роли Филиппа в ее жизни и глубокой, едкой обиды, рождавшейся в ее души при воспоминании матери и отца. И своеобразный баланс в этом противоречивом, двойственном союзе, не позволявший полностью овладеть ослабшим сознанием ненависти и порицанию, поддерживало наблюдение за другим постояльцем пансионата, за которым Марфа следила с особым интересом.

Постояльцем этим был высокий молодой человек, с широкими плечами и слишком узкими бедрами, которые делали его фигуру похожей на перевернутый треугольник. У него были русые жидкие волосы, почти бесцветные брови и тонкие губы, которые, однако, не делали его лицо строгим или жестким, – напротив, лицо его всегда выражало готовность ответить на всякую реплику, которая была обращена либо непосредственно к нему самому, либо была слышана им и у него находился для нее остроумный ответ.

Молодой человек этот обладал отменным чувством юмора, которым завоевал если не абсолютное расположение к себе, то известность как среди постояльцев пансионата, так и среди самого персонала. Он говорил легко и громко, у него всегда и на все находилась какая-нибудь реплика, он никогда не выглядел ни слишком грустным, ни особенно веселым, – казалось, он всегда пребывает в состоянии уравновешенной беспечальности. В пансионате он отдыхал вместе с девушкой, которая выглядела порядком старше его, и все знали, что она была его сестрой. В отличие от брата, девушка, такая же высокая и узкобедрая, не была словоохотливой, лицо ее имело более округлые черты, но светлые брови и русые волосы делали ее во многом похожей на брата.

Но не говорливость молодого человека привлекла внимание Марфы и не рельефность его широких плеч – Марфа была равнодушна к любым проявлениям остроумия и никогда не могла по достоинству оценить умение другого выражаться образно-саркастически, потому как сама была лишена этой техники. Молодой человек привлек внимание Марфы как раз во время того самого пешего путешествия в горы, в которое Марфа отправилась через два дня после беседы с Бектуровым, и отнюдь не его мастерство говорить легко и шутливо заинтересовало ее. Во время похода Марфа увидела в нем другого человека, и двойственность его натуры удивила и даже развеселила ее.

В тот день Марфе пришлось проснуться непривычно для себя рано – в шесть часов утра. Солнце уже бодро освещало склоны гор, ластясь к их махровым изогнутым спинам; ветер же, по-утреннему свежий и пряный, задувал со стороны межгорной долины, по которой каталась на днях на лошади Марфа.

– Погода переменится, – услышала Марфа чье-то суждение, когда, надевая на плечи небольшой рюкзачок, она вышла на открытую веранду пансионата, где уже собралась небольшая группа туристов, которые, так же как и она, собирались покорить несколько пологих склонов окружавших пансионат гор.

Из восьми человек, которые вместе с Марфой составляли группу, в лицо она знала только нескольких, а в том числе – небезызвестного молодого человека, который, несмотря на ранний час, уже был словоохотлив, но отнюдь не полон предвкушения пешей прогулки по диким тропам предгорий. Марфа только мельком взглянула на него, и то лишь потому, что голос его – хотя молодой человек и говорил в обычном своем тембре – заглушал тонкий свист синицы, которую еще полчаса назад единственную было слышно в этот безмолвный час зарождения дня.

Молодой человек этот, которого, как выяснилось позднее, звали Савелием, обычно выглядевший сдержанно-задорным, теперь как будто был несколько возбужден и взволнован, и голос его, звонкий, натянуто-веселый, подрагивал. Но Савелий старался подавить в себе эту свою взволнованность, и оттого, казалось, говорил больше обычного и часто вздыхал, отчего грудь его, и без того широкая, увеличивалась вдвое и округлялась так, будто обладатель ее был необыкновенно чем-то горд.

Одарив молодого человека беглым взглядом, Марфа окинула взором и остальных членов группы, после чего встала чуть в стороне и стала ожидать прихода проводника.

Прошло еще около десяти минут, прежде чем группа оставила позади себя веранду пансионата и двинулась по направлению к голубому зеркалу озера, которое просматривалось с веранды и из окон особняка, выходивших на юго-восток.

Прозрачные слезы озера, ударяясь о борт катера, на котором уместились все члены группы, включая проводника, отлетали к самым тонущим в отражении неба горным вершинам, расплывающимся к далеким берегам, что неровной линией окаймляли лагуну поднебесья. Озеро, со стороны казавшееся небольшим, с катера выглядело бескрайним – загибаясь петлей за изворот подножия прилежавшей к нему горы, извилистой рекой воды его направлялись промеж пирамидального ряда горных склонов, обступавших и озеро, и маленькую точку белоснежного катера, оставлявшего позади себя пенистый след, и само небо, сгустками окрашенное в золотистый пепел занимающегося дня.

Величие земли, господствовавшее здесь превозношением власти ее над всем проистекающим из нее в жизни кормящихся ею, было так велико и так громко, что мысли все, которые могли бы родиться при виде этого превосходства одного только вздоха Природы над абсолютным величием самого могущественнейшего и мудрейшего из всего созданного ею, растворялись в плеске этих самых чистых слез хрустальной воды, в молчании горбатых хранителей первозданности мира сего и в прозрачности неба, мерным дыханьем облаков заключившего мироздание в купол, непостижимый, гласный и невидимый.

Проводник направляла катер к горной гряде, что была видна Марфой с веранды ресторана. Но из пансионата далекие склоны эти представлялись облаками, что поднимались от горизонта; теперь же вершины гор все более явственно проступали перед взором, и, оборачиваясь назад, Марфа пыталась разглядеть пансионат, но тщетно, – казалось, пансионата не было вовсе, а вокруг на сотни километров простирались нетронутые и незаселенные земли.

Вот катер повернул к берегу, и неожиданно, среди каменных валунов, что рассыпались у самой кромки воды, проступил небольшой пирс – к нему-то и пришвартовался катер.

Если бы не это нелепое вторжение сооружения, сотворенного рукой человеческой, берег казался бы совсем диким; тропа, что просматривалась с него, лентой изгибавшаяся по пологому склону холма, – протоптанной какими-то животными или же возникшей здесь по прихоти самой природы; а мир вокруг – незаселенным и мирным, будто не было в нем больше никого, кроме этой маленькой группы людей, высадившихся здесь спустя сотни мгновений скитания по бесплодной пустыне озерной глади.

Проводник – смуглолицая, жилистая женщина с упрямым взглядом и кроткой улыбкой – чеканила что-то про правила поведения в горах, про обвалы, про резкую смену погоды и про то, что в среднем их маршрут займет чуть более четырех часов. Потом она стала рассказывать некоторые легенды о шаманах, реках и озерах, пока группа змейкой взбиралась от берега по той самой вытоптанной тропе на холм. А когда все, тяжело дыша, поднялись на вершину холма, то проводник уже не говорила ни об обвалах, ни о шаманах, а остановилась и, так же как и все, обводила взглядом открывшуюся взору всех зеленую долину.

Мир здесь стоявшим на пригорке казался раскрытой ладонью, а горы, объятые солнцем, – молодыми великанами, радушно встречавшими своих гостей.

Здесь, на вершине холма, тропинка кончалась или же просто больше не была различима неопытным глазом, поэтому далее группа двинулась вслед за проводником напрямик по мягкой траве, в которой тонули кроссовки. Солнце еще не нагревало макушек, а лица освежал ветер, который с особенной силой разбежался здесь, как игривое, непокорное дитя. Конечным пунктом маршрута была названа вершина невысокой горы, с которой открывался вид на цепь горных вершин, скалистыми, неприступными хребтами выстроившихся до самого горизонта, подобно острым зубам громадного чудовища, пытавшегося когда-то проглотить этот кусок Земли и застывшего на века с раскрытой своей пастью, превратившейся в завораживающее зрелище единения иссушенного мира скал и каньона причудливой игры света и тени, пропитанного живительным солнцем, а также слезами тронутых красотой ландшафта смиренных созерцателей неподвластной этой силы, заключенной в нем.

Когда долина была перейдена, группа вошла в лиственничник, облеплявший подножия окружавших долину гор и густо покрывавший их склоны. В лесу галдели птицы, перекликаясь на разный лад, – то тут то там подрагивали ветки, и темная острокрылая точка, едва мелькнув среди развесистых ветвей, тут же исчезала в пятнистой мозаике листвы.

В лесу было значительно прохладнее, нежели на освещенном солнцем открытом пространстве межгорий. Когда Марфа узнавала у администратора все подробности предстоящего тура, та предупредила ее о том, что с собой следует взять как необходимые в походе воду и небольшие съестные припасы, так и теплую одежду – в горах было значительно холоднее, чем в межгорной котловине, в которой находился пансионат. Поэтому Марфа, как и большинство членов группы, надела ветровку еще в своем номере, потому как и раннее утро, несмотря на знойный день, не отличалось теплотой. Теперь же, когда путь группы пролегал по крутому подъему, хотя в лесу и было довольно прохладно, Марфе стало жарко и она сняла с себя ветровку и обвязала ее вокруг пояса. Примеру Марфы последовали и некоторые члены группы.

– В прошлом году мы с отцом ездили на Алдан, – услышала Марфа запыхавшийся голос Савелия позади себя. – Знаете, река в Якутии? Почти каждый год мы ездим туда на рыбалку. И вот в том году приключилась с нами такая штука: на нашу стоянку стала наведываться рысь. Началось все с того, что у нас пропал улов. Прямо из ведра пропал. Ведро стояло у костра – мы собирались варить уху. Ненадолго отлучились, а когда вернулись – ведро перевернуто, а рыбы-то и нет. Сразу заподозрили, что к нам кто-то наведалься. Снова наловили и решили понаблюдать. – Савелий остановился, переводя дыхание, – широкая грудь его тяжело вздымалась. Кое-кто из членов группы тоже остановился, с интересом прислушиваясь к рассказу молодого человека. – Так вот, – продолжил он, – долго мы наблюдали, а никто так и не появился. Мы решили сменить место стоянки и прошли вниз по течению. Дня через два история снова повторилась:

оставили мы ведро с рыбой у костра, а сами у моторки были. – Теперь остановилась вся группа, включая проводника. Глаза Савелия блестели, а уши почему-то были ярко-красными – то ли от ветра, то ли от смущения. – Оборачиваюсь я, значит, ненароком на костер и вижу: стоит у ведра рысь и лапой рыбу нашу черпает. Вот, думаю, наглая какая! И знает же, когда рыба без присмотра оставлена, а когда следит за ней кто-то! Я окликнул отца. Пока он из моторки на берег вылезал, я громко свистнул. Рысь так и замерла с поднятой лапой и на меня смотрит. Ну я поднял камень и бросил прямо в ведро, чтобы спугнуть ее...

– А если бы она бросилась на тебя? – откликнулась его сестра, которая, вероятно, уже не раз слышала эту историю.

– Все могло быть, – пожал широкими плечами Савелий. – Только когда камень ударился о ведро, рысь отскочила, на секунду припала к земле, а потом кинулась в лес.

– И что же? – спросил кто-то из группы. – Больше не приходила?

– Больше не приходила, – кивнул Савелий, округлив грудь.

– Смело ты в рысь... – протянул кто-то.

– А чего она чужой улов ворует! – вскинул руку Савелий. – Пускай знает, что не везде она хозяйка!

Этот короткий рассказ Савелия стал поводом для небольшого привала, в продолжение которого кто-то сделал несколько глотков воды, кто-то так же снял с себя накиннутую на плечи ветровку, кто-то, напротив, оделся, а кто-то обходил кругом, всматриваясь в смиренно чирикающую лесную чащу.

– А в этих лесах водятся рыси? – спросила вдруг сестра Савелия у проводника.

– Рысь есть, – ответила проводник. – Но она в тайге в основном, к людям не приближается.

– А волки? – слышался обеспокоенный голос.

– В некоторых районах их довольно много, – сказала проводник. – Но здесь мы их вряд ли встретим, поверьте. Здесь вполне можно увидеть лося, оленя, быть может лису. Но волка или рысь – нет.

Однако, после рассказа Савелия и обнадеживающего «вряд ли» проводника, подъем утратил некоторую расслабленность его участников, и даже Марфа стала ловить себя на том, что то и дело всматривается теперь в просветы между деревьями, ожидая увидеть какую-нибудь тень. Но никаких теней не было – лес шуршал и шептался, перебирая в зеленых пальцах листы золотистые монеты солнечного света, и скоро Марфа снова чувствовала себя в его объятиях гостей, которой рады здесь и с которой ничего не может произойти.

Савелий, заметно повеселевший после своего рассказа, шел теперь бодрым, уверенным шагом, и лицо его, с тонкими чертами и бесцветными почти бровями, приняло убежденно-начальственное выражение, которое бывает у людей, участвовавших в деле, которое они успели основательно изучить. Такое выражение лица сохранялось у него вплоть до случая, который заставил проводника несколько изменить маршрут группы.

Лес постепенно редел. В просветах между тонкими стволами стала просматриваться вершина соседней горы, что стояла за неширокой межгорной долиной. Группа поднялась уже на достаточную высоту, так что, когда вслед за проводником Марфа вышла на открытую площадку, лишенную всякого укрытия, при виде той высоты, которая открылась ей, у нее слегка закружилась голова и захватило дух так, что вздох, который она невольно издала, получился особенно глубоким и прерывистым.

Дальнейший путь группы пролегал по достаточно широкому, но от того не менее головокружительному серпантину. Проводник уверенным шагом направилась вперед – за ней следовали и другие; и только Савелий, выйдя из чащи леса, остановился как вкопанный, округлившими глазами глядя туда, где крутой обрыв терялся в дымке склона. Марфа заметила то мгновенное изменение выражения его лица, которое совершенно стерло с него все следы убеж-

денности и начальственности, а само лицо сделалось белым как полотно. Марфе вспомнилось то возбуждение, в котором пребывал Савелий перед выходом группы, его натянуто-веселый голос, и она вдруг поняла, что причиной этому служил страх. Савелий боялся высоты, а быть может, и не только ее, но и всех тех опасностей, которыми наполнен был пеший маршрут в горы. Пусть Савелий всегда был безмятежно-весел, пусть грудь его важно округлялась, когда шутка его или замечание с успехом воспринимались публикой, пусть он гордился смелостью, проявленной им при встрече с рысью, пусть нередко проявлял он хвастовство, но беспокойство и совершенная растерянность, которые тенью лежали на его лице утром, и настоящий страх, которым полны были его глаза теперь, говорили о том, что Савелий был отнюдь не бесстрашен, а даже робок и несмел.

– Пойдите! – воскликнула его сестра, заставив членов группы резко обернуться.

Вернулась и проводник, обошла замерших на месте членов группы и пристально и смятенно посмотрела на Савелия, который приник к отвесному склону горы, пальцами впившись в камень и грудью прижавшись к нему.

– Что ж ты, – высмеял бочковидный молодой мужчина Савелия, издав при этом какой-то булькающий смешок, – камень в рысь бросаешь, а по серпантину пройти боишься!

Савелий никак не отреагировал на это замечание. Он продолжал прижиматься к склону, с ужасом глядя на край обрыва.

– Дорога совершенно безопасна, – заверяла проводник. – Это короткий участок. За ним снова будет перелесок.

Сестра Савелия вдруг вспыхнула: лицо ее залилось краской, а глаза избегали встречи со смеющимися взглядами членов группы. Марфа почему-то испытала жалость – таким беспомощным выглядел некогда исполненный важности молодой человек, высокий, широкоплечий, с сильными мускулистыми руками, что в бессилии прижимались теперь к холодным камням.

Вот Савелий, поддерживаемый рукой сестры, отстранился от склона и сделал короткий шаг по серпантину.

– Не смотри вниз, – сказала ему дежурную фразу проводник и стала позади него. – Идем же, – коснулась она его плеча. – Здесь нужно сделать всего десять шагов...

Однако не было сделано и пяти шагов, как где-то наверху, над самыми головами собравшихся под крутым склоном туристов, что-то застучало, забило так, будто кто-то насыпал в коробку мелкие камни и стал трясти ею. Проводник тут же оставила Савелия и пробежала вперед, заставив всех остановиться. Не успела Марфа поднять голову, чтобы посмотреть наверх, как ей прямо под ноги упало несколько мелких камушков, а на лицо посыпалась пыль. Тут же стоявшие перед ней члены группы неожиданно отпрянули назад, так что Марфа оказалась прижатой к каменистому склону, – перед ними со склона осыпались мелкие булыжники.

– Назад! – кричала проводник. – Отойдите назад!

Все стали пятиться назад, как вдруг резкий женский вскрик эхом разлетелся по котловине. Марфа оглянулась, сначала не сообразив, откуда доносится крик. Боковым зрением она увидела, как какая-то тень слева от нее метнулась вниз.

– Сумка! – восклицала женщина, стоявшая у самого края обрыва. – Моя сумка!..

Небольшой камнепад, спровоцированный, быть может, каким-то животным, проскочившим по склону, так испугал женщину, что она рефлекторно отбросила рюкзак, который в это время держала в руке, и он полетел вниз, приземлившись на выступе, находившемся порогом ниже серпантина, по которому следовала группа.

Все сделали шаг к обрыву и, вытянув шеи, посмотрели вниз.

Рюкзак лежал на довольно узком уступе горы, и, чтобы достать его, требовалось спуститься вниз и пройти по своеобразным каменным ступеням, которые образовывали выпирающие из склона небольшие валуны.

Проводник уже собралась было спуститься за рюкзаком, как кто-то вдруг воскликнул, указывая куда-то влево:

– Смотрите! А парень-то за уступом спрятался! Вот он пусть и достанет рюкзак. Ему-то ближе...

И в самом деле: светловолосая голова Савелия виднелась за каменным карнизом, за которым, как подумали все, бросив при этом сестру, спрятался молодой человек от посыпавшихся с горы мелких обломков камней. От места, где стоял Савелий, нужно было пройти по отвесным ступеням к площадке, на которой лежал рюкзак, а оттуда уже подняться по грунтовому склону к серпантину, где остановилась группа.

– Не двигайтесь! – крикнула Савелию не на шутку перепугавшаяся проводник. – Я сейчас к вам спущусь!

Но Савелий, вопреки предостережению проводника, стал медленно продвигаться по выпирающим из склона валунам, не отводя сосредоточенного взгляда от рюкзака и впиваясь побелевшими от напряжения пальцами в уступы. Все замерли, наблюдая за тем, как человек, который всего несколько минут назад не мог ступить и шагу по широкому серпантину, теперь переступал с камня на камень, двигаясь над самой пропастью.

Теперь нельзя было проводнику спускаться вниз: любое неверное движение могло спровоцировать сброс камней вниз, а значит, отвлечь Савелия и привести к печальным последствиям.

У Марфы засосало под ложечкой. Она никогда не боялась высоты, но вид человека, который до смерти боялся ее, а теперь ступал по самому краю бездны, рискуя сорваться, заставлял Марфу испытывать содрогание и трепет.

Так, шаг за шагом, ни разу не соскользнув ни ногой, ни рукой с камня, Савелий достиг площадки и ступил обеими ногами на ее относительно ровную поверхность. Закинув рюкзак за плечи, Савелий стал взбираться по крутому склону горы к серпантину, где его уже поджидали проводник и остальные члены группы, протягивая ему навстречу руки. Последний рывок – и Савелий полулежал на серпантине, а возле него на коленях сидела его сестра, испуганно осматривая его.

– Ты не ушибся, Сава? – бормотала она. – Тебе не больно?

– Нет, – тяжело выдохнул Савелий, широко при этом улыбаясь. Он выглядел так, будто покорил высочайшую вершину мира. – Все хорошо...

Женщина, потерявшая рюкзак, теперь прижимала его к себе так, будто это была вовсе не сумка, а живой ребенок. Савелий поднялся с земли, отряхнулся и оглянулся на обрыв – на лице его вновь изобразилась тревога.

Ввиду произошедшего инцидента с осыпавшимися мелкими камнями проводником было решено несколько изменить маршрут, – она не стала рисковать продолжать путь по серпантину, потому как не могла с точностью определить, было ли вызвано осыпание неосторожным движением какого-нибудь мелкого животного, или же причина его крылась в разрушении горных пород, диктовавшем возможность более серьезного обрушения. Новый маршрут был несколько длиннее, но вследствие сложившихся обстоятельств – намного безопаснее. Так группа повернула назад и, не доходя до опушки леса, свернула налево, двинувшись вдоль нее, пока не вышла к наиболее пологому подъему к вершине.

Происшествие это, являвшееся примером упрямства случая, внесло в группу некоторое оживление. До сих пор все шли в сдержанном молчании, делясь впечатлениями только с собственным товарищем, – теперь же участники похода громко говорили друг с другом, обсуждая случившееся и вынося предположения о дальнейшем развитии событий, «если бы то-то» и «кабы не это». Только Марфа ни с кем не делилась испытываемыми ею чувствами: продиктована эта ее молчаливость была тем, что в группе, несмотря на поступок Савелия, молодого человека осудили – за его рассказ про Алдан, за проявленную затем на серпантине нерешитель-

тельность, за его поспешные действия во время камнепада и за полные страха глаза, когда он вновь поднялся на серпантин.

Считается, что человек, проявивший однажды смелость, является бесстрашным. Но стоит единожды этому человеку показать другим свой страх, как всякое его бесстрашие в глазах других тут же трансформируется в совершеннейшую трусость.

Так произошло и с Савелием.

В отличие от остальных, Марфа увидела в действиях Савелия не трусость, а настоящую смелость. Она помнила тень, мелькнувшую у края обрыва сразу после крика женщины (Савелий вовсе не прятался за карнизом, как сочли другие, а машинально бросился за упавшей вниз сумкой), помнила страх в глазах молодого человека при виде высоты и наблюдала состязание ужаса и стремления побороть его. Все сочли Савелия трусоватым, и только Марфа увидела в его поступке мужество – стремление побороть то, чего боишься больше всего. Никто из тех, кто так смело ступал по серпантину, не среагировал на возникшую сложность так, как сделал это Савелий. Смел не тот, кто не боится и рискует, а тот, кто рискует, преодолевая страх.

Когда группа наконец благополучно достигла вершины и горные хребты выстроились острыми костлявыми позвонками до самого горизонта, Марфа уже не чувствовала в груди ни обиды, ни сожалений: она смотрела на мир, обьятый солнечным светом, смотрела на птиц, круживших в зазеркалье небосвода, и находила внутри себя только умилявшую сознание признательность, – ее забавляло это ее тайное открытие двоякости толкования совершаемых человеком действий, будоражило и созерцание победы над собственным страхом, а также чужое заблуждение, так виртуозно разрешенное ею. Таким образом, в Марфе появился своего рода баланс ее противоречивых чувств, которые порождали воспоминания о доме. Осью этому балансу служило осознание того, что страх порождает ненависть, но что всякий страх победим – даже тот, который, казалось бы, победить нельзя.

Когда Марфа вернулась в пансионат, она, быть может, еще осуждала, но больше никого не презирала.

С того дня за Савелием прочно закрепилась репутация человека малодушного. Насколько Марфа знала, Савелий никого не переубеждал в обратном и никого не обвинял. Он только стал немного тише, больше уже не говорил громко, как прежде, и не отпускал случайных фраз, но Марфа все же неотрывно следила за ним, потому что до того дня не встречала человека, подобного ему.

С сестрой они были в пансионате еще около трех дней, а потом уехали. В день, когда Марфа совершала пеший поход в горы, в пансионат прибыли новые постояльцы, но Марфа не видела их: когда группа вернулась в пансионат, ужин в ресторане уже кончился, и для вернувшихся из похода туристов ужин был подан в номера.

VI

Каждое утро и каждый вечер Марфа созванивалась с мужем – так было между ними условлено. Марфа говорила с мужем ласково, и сама как будто чувствовала в себе эти нежность и участливость по отношению к нему, которые она хотела выразить в своем голосе. Сам звук голоса Филиппа, мягкий, исполненный любви, казался ей самым чудесным на свете. И Марфа радовалась этой установившейся между ними традиции, и каждый раз при прощании она говорила мужу, что очень ждет встречи с ним и очень надеется, что он все же приедет к ней. Марфе казалось, что если бы Филипп приехал в пансионат, то вся бы ее жизнь точно бы изменилась, то все сделалось бы так, как должно, и никогда бы не было возврата к тому снедающему одиночеству, в котором она прожила все двадцать семь лет своей жизни. Марфа желала видеть Филиппа, жаждала повторения тех упоенных любовью минут, когда она почувствовала в себе всю полноту благосклонности к нему и увлеченности им. Но каждый раз Филипп говорил, что приехать пока никак не может, но что тоже скучает по ней и, так же как и она, с нетерпением ждет встречи с нею.

И всякий раз после разговора с Филиппом Марфа испытывала легкий трепет разочарования в своей груди, но в то же время она чувствовала надежду, которая вселяла в нее живительные силы для нового дня.

Так, на следующий после похода день, созвонившись с Филиппом, Марфа спустилась в ресторан к завтраку. В то утро Марфа чувствовала себя особенно освеженной и безмятежной. Предыдущий день внес в ее душу некоторое равновесие, и теперь она меньше раздумывала о несостоявшемся своем счастливом детстве, о лишенной родительской любви юности и о беспечных днях, полных пустопорожного самобичевания.

Марфа заказала себе флэт-уайт и блинчики с маком. Сидя за столиком, который она всегда занимала, и глядя на вздымающиеся вдалеке горы, между которыми она проезжала накануне на катере, и на те самые вершины, что с веранды казались подымающимися от горизонта облаками, Марфа больше не находила в них загадочности и таинственной непостижимости – ей казалось, будто вчера она узнала их, изучила их основания и постигла их вершины, и теперь они уже не привлекали ее взор так, как прежде, когда еще представлялись ей чем-то величественным и недостижимым.

Марфа отвернулась от открывавшегося с веранды вида и обратила свой взор на посетителей ресторана. Вот за один из столиков, стоявших в самом зале ресторана, что просматривался в раскрытые двустворчатые двери, усаживался седобородый старик в светлом летнем костюме; в углу зала Марфа рассмотрела Савелия с сестрой; около входа в ресторан замялся бочковидный молодой мужчина – тот самый, что накануне посмеялся над нерешительностью Савелия – в компании своей не менее «изящной» жены; вслед за ними в ресторан вошли рыжеволосые мать и дочь, появление которых сигнализировало об окончании завтрака Марфы. Но при виде них на сей раз Марфа не поспешила покончить с завтраком и удалиться – она только на мгновение затаила дыхание, а потом коротко улыбнулась чему-то и сделала маленький глоток еще горячего флэт-уайта.

Вот мать и дочь отошли от входа и направились в сторону веранды, и Марфа смогла рассмотреть вошедших за ними посетителей. «Новенькие», – подумала Марфа, потому как девушка, которую она увидела, была ей незнакома.

Девушка была очень красива: густые темные спиралевидные волосы ее ниспадали на округлые плечи; пухлые губы персикового оттенка были правильной формы; темные брови с высоким подъемом и коротким кончиком придавали не менее темным глазам девушки миндалевидную форму; широкие скулы и высокий смуглый лоб делали ее лицо чувственным. Девушку нельзя было назвать ни полнотелой, ни худой: у нее были довольно пышная грудь и

бедра, между которыми обозначалась подтянутая талия – все это облегалo алое летнее платье с открытыми плечами. Девушка была бы безупречна, если бы не одно обстоятельство: в правой руке она сжимала трость, на которую опиралась при каждом своем шаге. Девушка была хромой.

Сильно западая на правую ногу, при этом с явным усилием переставляя левую, девушка вошла в ресторан и обвела столики спокойным взглядом. К ней тут же подскочил метрдотель и о чем-то спросил ее, на что она ответила ему только показавшейся Марфе печальной улыбкой, после чего отвернулась и посмотрела назад, вопросительно при этом приподняв брови.

Теперь Марфа заметила, что девушка была не одна – из-за нее выступил светловолосый молодой мужчина в белоснежной рубашке-поло и светлых летних брюках. Он положил ладонь правой руки на спину девушки и немного склонился вперед, словно прислушиваясь к тому, что девушка говорит ему. Потом он сунул левую руку в карман брюк, выпрямился и сказал что-то официанту. Марфа не могла в должной мере рассмотреть лица мужчины, потому как он стоял вполоборота к ней, но весь образ его, профиль, руки, манеры показались ей знакомыми и заставляли ее испытывать то приступ дрожи, то прилив жара. Когда молодой человек наконец обернулся и вслед за девушкой и метрдотелем направился в сторону веранды, чашка с кофе выскользнула из пальцев Марфы, ударилась о блюдо, опрокинулась, и ее темное содержимое выплеснулось на белоснежную скатерть, быстро расплзаясь по ней неровным пятном, с каждой секундой заглатывающим все больше чистых волокон. В молодом человеке Марфа узнала Мелюхина.

Бывают в жизни каждого дни, когда мысль посещает вопрос: как сложилась бы жизнь, если бы однажды кем-то или самим тобой было принято иное решение? Такие дни, когда вопрос этот неотступно сопровождает каждое новое мгновение, наступили и в жизни Марфы.

Она словно вернулась на четыре года назад, но теперь мысль о Мелюхине больше не вызвала в ней чувства предвкушения чего-то упоительно-прекрасного, – от чувства этого, неопытного, доверчивого, в ней остался только глубокий, всепоглощающий стыд, какого она не испытывала еще никогда. Марфе казалось, будто один только взгляд на нее Мелюхина способен заставить ее почувствовать такое замешательство и такую неловкость, которые могли бы быть сравнимы с настоящим позором. Она безмерно жалела о своих действиях по отношению к нему: о своем глупом, порывистом признании, об ожидании ответа и требовании этого ответа своими вопросами к нему и расспросами о его будущем, и заметном, очевидном для Мелюхина и для других унынии, когда ответ, бесстрастно-печальный, ни к чему не обязывающий, ни о чем не говорящий, был наконец дан. И пусть с того последнего дня, когда Марфа в последний раз видела его, прошла, казалось, целая жизнь, и Марфа как будто уже забыла о нем, теперь же, когда она снова встретила его, удушающая волна стыда захлестнула ее, и чувства, заблудившиеся в лабиринте событий, подавленные, бесправные, вновь поднялись в ней, и все, что было испытано, сказано и сделано до этого дня, представлялось лицемерием, лживостью, обманом, – не было ничего и быть ничего не могло, потому что из всего, что было в жизни раньше, ничто не могло называться настоящим, а только отблесками, тенями, стремлением воссоздать что-то, что едва появилось и тут же исчезло, оставив только слабый отпечаток на том, что подвержено силе воздействия пыли времени и волн убеждений.

Стыд этот – за любовь, за пренебрежение ею, за невозможность ее и за ее явность – был так велик, что невозможно было удержать в себе шквал воспоминаний, заставлявший Марфу с силой сжимать ладонями виски в стремлении унять те сожаление и боль, которые вдруг вспыхнули в ней. Грудь жгло, в глазах все прыгало, а в голове гудело, и Марфа, поднявшись после завтрака в свой номер, закрылась в нем и не выходила до самого вечера. Ей чудилось, что номер, в котором остановился Мелюхин, где-то рядом с ее, и стоит ей выйти, как она тут же непременно встретит его.

Марфа даже собралась уехать из пансионата. В спешке она стала собирать чемодан, без разбору бросая в него вещи, пока случайно не задела вазу с цветами, стоявшую на столике, и та не разбилась на десятки осколков. Острый этот звук несколько умерил ее горячность, и Марфа замерла, посмотрела на разбитую вазу и цветы, что, рассыпанные на полу, напоминали ей о чем-то трагичном, несчастливом, оставила свое бессмысленное занятие, решив, что следовать побуждениям, продиктованным неумением управлять собственными эмоциями, было бы безрассудно, переделась, спустилась вниз, часто при этом оглядываясь и в то же время стараясь не встречаться ни с кем глазами, вышла из пансионата и направилась в сосновый парк.

Быстро смеркалось. На аллеях загорались желтые цилиндрикообразные колпаки фонарей. Недалеко от берега озера светилась терраса, где постепенно собирались музыканты, которые, как это часто бывало здесь, намеревались встретить наступающую ночь ласковыми звуками музыки. Кое-где по аллеям прогуливались постояльцы пансионата, фигуры всех двигались ровно, шаги их были прямы и неспешны, поэтому Марфа скоро успокоилась – хромой девушки нигде не было видно. Первая волна потрясения от встречи с Мелюхиным (который, кстати, не успел узнать Марфу, потому как она, опрокинув чашку с кофе, тут же поднялась из-за столика и ушла из ресторана через выход с самой веранды, минуя возможность быть замеченной Мелюхиным в состоянии крайнего удивления и смущения) улеглась в ней, и теперь, даже если бы ей снова представился случай встретиться с ним – а Марфа не сомневалась в том, что так или иначе ей все же придется столкнуться с ним, – Марфа считала себя способной поздороваться с Мелюхиным приветливо и сдержанно, как со старым и не очень близким знакомым.

Марфа опустила на скамейку и со вздохом откинулась на деревянную спинку. Ей вдруг стало страшно. Сумерки, сгущавшиеся среди стволов и мохнатых макушек, показались ей тенью набежавших туч. И в самом деле, подняв голову, Марфа рассмотрела на посеревшем небе темные сгустки облаков. Ветер, накануне резвившийся по долинам, теперь уже не был игриво-насмешлив, а дул с какой-то пугающей, грозной силой. И даже днем, когда солнце освещало все вокруг своим ярким, всеобличающим светом, ветер был свиреп и гневен, а теперь, облаченный в мантию тьмы, он стал еще более зловец и тревожен, и Марфе казалось, что в роще отчаянно ликует неведомая сила, заставлявшая жалобно и мучительно вскрикивать непокорные сосны, что безнадежно воздевали свои заостренные кисти к помутневшему небу и проносившимся по нему облакам, будто в стремлении умолить их об избавлении от тягости возложенного на них бремени. Но облака пробежали мимо, а сосны продолжали отчаянно биться в мольбах, а ветер, срывавший иглы, торжествующе шипел и посвистывал, порывами налетая на парк.

Про себя Марфа неустанно повторяла только пять слов: надо же было такому случиться. Под «таким» она подразумевала встречу с человеком, которого когда-то единственного желала видеть, а теперь единственного видеть не хотела, в месте, где вероятность этой встречи была чудовищно мала. И вот она произошла – о воля случая! – и Марфа часто вздыхала, и на выдохе изредка с ее губ слетало едва слышно: «Надо же...»

Со стороны озера до места, где сидела Марфа, урывками стали доноситься звуки музыки, приносимые ветром. Марфа невольно прислушалась, безотчетно пытаясь угадать, что играют, но разобрать было невозможно, и в ней мгновенно поднялась волна раздражения. Она обернулась на звуки, с укором взглянув на подсвеченную террасу. Сквозь частые сосновые стволы ей трудно было рассмотреть собравшихся у террасы постояльцев пансионата, но взгляд Марфы почти сразу наткнулся на изогнувшуюся, будто в бессилии, фигуру, уже знакомую ей, – фигуру девушки с тростью. Марфа развернулась на скамейке вполоборота и сощурила глаза, потому как порывы ветра, в самом парке бывшие хотя и не такими сильными, как в кронах сосен, несколько сушили их.

Девушка была одна. Она стояла не у самой террасы, а чуть в стороне, и, опершись на трость, смотрела на играющих на террасе музыкантов. Помимо нее, у террасы собралось еще

несколько человек, спустившихся, вероятно, к ужину или вернувшихся из очередного тура, но все они не задерживались надолго у террасы. А девушка стояла, не шелохнувшись, вытянув шею и будто впитывая каждый звук устремленным к музыкантам лицом.

Некоторое время Марфа наблюдала за ней, ожидая с минуты на минуту увидеть знакомую фигуру ее спутника. Но фигура все не появлялась, а на улице становилось зябко, и Марфа решила вернуться в пансионат.

Она поднялась по ступеням веранды и уже вошла в небольшой холл первого этажа особняка, когда вдруг вспомнила, что забыла на скамейке ключи от своего номера. С досадой поджав губы, Марфа развернулась на каблуках и направилась обратно в парк.

Навстречу Марфе поднималась от озера небольшая группа людей – возможно, вернувшиеся из пешего похода в горы туристы. Марфа увидела проводника, и та, узнав Марфу, кивнула ей в знак приветствия. Марфа ответила тем же.

Свернув на аллею, на которой стояла скамейка, где Марфа по рассеянности мысли оставила ключи от номера, она вдруг заметила, что ветер стих. Верхушки сосен молчаливо темнели на фоне почерневшего неба, по которому больше не проплывали безгласные и безучастные облака, а штормовые вихри больше не ломали изогнутых веток, заставляя их издавать печальный и горький визг. И перемена эта, необъяснимая, скорая, тотальная, поразила Марфу. Но не столько смена погоды, подобная перерождению, метаморфозе земли удивила ее, сколько видоизменение, реорганизация самого восприятия пространства, которое показалось Марфе шире и рельефней, чем прежде.

Ключи от номера действительно лежали на скамейке. Взяв их, Марфа снова посмотрела в сторону террасы, музыка с которой доносилась теперь отчетливо и громко. Девушки возле террасы уже не было.

Марфа встретила с Мелюхиным за завтраком следующего дня. У Марфы была на тот день назначена конная прогулка к гротам, поэтому к завтраку Марфа спустилась раньше обычного. Ресторан только открылся, и никого из тех, с кем Марфа обычно завтракала, не было: собственно, в ресторане, кроме Марфы, был еще только один посетитель – немолодой мужчина с довольно упитанным брюшком, неторопливо поглощавший яичницу с беконом и запивавший ее молоком.

Марфа сидела на своем обычном месте, неспешно отпивая из чашечки с толстыми стенками горячий эспрессо – аппетита у нее в то утро не было, и даже кофе казался ей слишком сытным.

Первой вошла в ресторан девушка с тростью – Марфа заметила ее боковым зрением и узнала ее по ярко-алому платью, уже другому, но, как и прежде, облегавшему ее формы. За ней появилась и подтянутая фигура молодого мужчины, но и на его приход Марфа не обернулась, про себя только с трепетом отметив его появление. Марфа продолжала теперь уже взволнованно маленькими глотками отпивать кофе, когда молодой человек и девушка направились к веранде. Марфу обьяло похожее на густую жижу магмы оцепенение. Она желала быть неузнанной, но в то же время хотела внести в безмятежность пребывания Мелюхина в пансионате некоторую сумятицу удивления. Она поддалась воле судьбы.

Не известна еще человечеству первоприрода участи и предопределения, а воле будущности последующих мгновений было угодно свести два взгляда, каждый из которых был полон восторженного смятения.

– Марфа... – раздался изумленный голос, знакомый и незнакомый одновременно.

Марфа неспешно отняла свой взгляд от молодого кедра, росшего по ту сторону ограждения веранды и склонявшего свои мохнатые лапы к нему, и подняла его на произнесшего ее имя. Глаза ее встретили удивление и поэтичную растерянность в голубых глазах на знакомом красивом лице. Мелюхин остановился в двух шагах от столика Марфы и, слегка подавшись

вперед, смотрел на Марфу смущенно и радостно. Когда Марфа обернулась к нему, он улыбнулся, и лицо его сделалось совершенно счастливым.

– Приве-ет... – улыбаясь широко и натянуто-пораженно, протянула Марфа, опуская руку с чашкой на стол. – Как ты здесь? – на выдохе произнесла она.

– Да вот на две недели приехали с женой, – сказал Мелюхин, выпрямляясь. Он обернулся к девушке, остановившейся в шаге от него, протянул ей руку, которую та не приняла, вновь посмотрел на Марфу и спросил: – Как давно ты здесь?

– Уже неделю, – ответила Марфа.

– Ты с кем-то?

– Нет, пока одна. Мой муж должен приехать на неделе...

– Как это странно... – произнес Мелюхин, пораженно хмурясь. – Встретить тебя здесь... Познакомься, Таня, – вновь обратил он свой взор к жене. – Это моя сокурсница Марфа.

– Очень приятно, – улыбнулась Марфе девушка с тростью, при этом щеки на ее лице сделались похожими на наливные яблочки.

– Мне тоже, – откликнулась Марфа, отметив певучесть голоса девушки и некую медленность ее речи.

– Мы можем... вместе позавтракать, – вдруг предложил Мелюхин, поочередно глядя то на Марфу, то на свою жену.

– Если только в другой раз, – тактично и несколько отстраненно сказала Марфа, поднимаясь из-за стола. – Сейчас у меня назначена экскурсия.

– Хорошо, – с готовностью кивнул Мелюхин.

– Всего доброго, – любезно улыбнулась Марфа жене Мелюхина и ему самому.

– Рад встречи, – бросил Марфе вслед Мелюхин, ожидая, что Марфа обернется.

Но Марфа не обернулась.

– Я не смогу приехать к тебе, – сказал Филипп, и слова его вызвали в душе Марфы конфликт глухого ликования и колкого, будто насмехающегося над чем-то разочарования.

Марфа позвонила мужу в неустановленный для этого послеобеденный час. По возвращении с экскурсии, во время которой Марфа пребывала в каком-то новом для себя расположении духа, граничившем с безмерным блаженством, которое почему-то вызывало в ней чувства стесненности и смущения, в Марфе появилось неукротимое желание позвонить Катричу, будто если вот сейчас она не позвонит ему, то случится что-то непоправимое и опасное. И она позвонила ему, и Филипп был очень удивлен этому неожиданному звонку и в то же время очень рад ему. Но радость в его голосе скоро сменилась нотами тоски и грусти, как если бы Марфа сообщила ему о чем-то печальном, и этот оттенок голоса мужа расстроил Марфу только потому, что ее звонок не произвел на Катрича ожидаемого впечатления. А сообщение Филиппа о том, что он все-таки не сможет оставить дела и приехать к жене, и вовсе огорчило Марфу, вызвав частое, ритмичное сердцебиение в ее груди, сходное с восторженным упоением.

– Тогда я уеду отсюда, – ответила Марфа без особенного энтузиазма.

– Нет, не нужно уезжать, – запротестовал Филипп. – Ведь тебе нравится там? Останься еще на неделю. Горный воздух полезен тебе.

Марфу странно обрадовало это заверение мужа, и она как будто с неохотой согласилась с ним.

Продолжительная конная экскурсия по лугам и низинам утомила Марфу, и, поговорив по телефону с Катричем, она легла на постель, решив немного отдохнуть, и сразу же крепко заснула.

Проснулась она только в девятом часу вечера. Переодевшись в синий брючный костюм свободного кроя – Марфа теперь одевалась с особенной тщательностью, хотя после замужества она всегда выглядела сдержанно-элегантно, – Марфа спустилась в ресторан. Основная масса

посетителей уже поужинала, и в ресторане было занято всего несколько столиков. Направившись было к веранде, Марфа на полпути остановилась, впившись вопросительно-отрешенным взглядом в сидящего за столиком, который обычно занимала она, Мелюхина.

Он сидел, откинувшись на спинку стула, и безучастным взглядом следил за зажигалкой, которую крутил в пальцах правой руки. Вид у него был задумчивый и в то же время отстраненный. Вопреки соблазну, Марфа решила не подходить к нему – чувство стыда перед чем-то непоправимым все еще преследовало ее. Она хотела пройти к недоступному с веранды взору столику в зале, когда Мелюхин поднял свой взгляд от зажигалки и обратил его на Марфу. При виде нее он тут же выпрямился и вздернул левую руку, обращая ее внимание на себя. Марфа кивнула ему, сдержанно улыбнулась, но все же не изменила своего решения сесть за скрытый от взора Мелюхина столик в зале. Однако не успела Марфа занять свое место, как возле нее, вместо официанта, возник Мелюхин.

– Добрый вечер... – произнес он мягко и решительно над головой Марфы.

Марфа подняла голову и посмотрела на Мелюхина.

– Добрый, – коротко ответила она.

– Я могу присесть? – спросил он и, получив не то утвердительный, не то безразлично-учтивый ответ в виде легкого движения плеча Марфы, опустился за столик рядом с ней. – Как прошла экскурсия?

– Замечательно, – улыбнулась Марфа, метнув в Мелюхина короткий робкий взгляд.

Последовала пауза. Вероятно, Мелюхин ожидал более пространный ответ, но Марфа больше не смотрела на него, а листала принесенное официантом меню.

– Нехорошо тогда получилось, – сказал вдруг Мелюхин и поморщился.

Марфа удивленно посмотрела на него.

– О чем ты? – непонимающе спросила она.

– О нас с тобой, – ответил Мелюхин, глядя на Марфу виновато-печально.

При этих словах Мелюхина Марфа покачала головой.

– Ничего не было, – сказала она, и в голосе ее послышалась нерешительность.

Мелюхин обвел лицо Марфы внимательным взглядом и, скрестив на столе руки, опустил голову, при этом глубоко вздохнув и шумно выдохнув.

– Как ты устроилась? – после непродолжительного молчания спросил Мелюхин. – Кем работаешь?

– Учю детей английскому языку, – ответила Марфа.

– В школе?

– Нет, дома. Они приходят ко мне.

– Понятно... – ухмыльнулся Мелюхин. – А я после окончания университета вернулся домой, некоторое время работал в местной газете, потом перевелся в мелкое издательство корректором. Затем женился, открыл свою типографию. Теперь вот... руковожу, – с расстановкой добавил Мелюхин, будто подбирал нужное слово, и снова усмехнулся.

– Здорово, – одобрительно кивнула Марфа, избегая смотреть Мелюхину в глаза.

– Может, это прозвучит слишком банально, но я часто вспоминал тебя, – произнес Мелюхин осторожно, но в то же время мягко и ласково.

– А я тебя – нет, – не сразу ответила Марфа, хотя сама удивилась этой самой мысли, впервые пришедшей ей в голову, о том, что за четыре года она ни разу не вспоминала Мелюхина, хотя, как ей теперь казалось, не было и дня, чтобы мысль о нем незаметно для нее самой не пребывала с ней.

Мелюхин вдруг рассмеялся – почти беззвучно, весело. Марфа недоуменно посмотрела на него.

– Почему ты смеешься? – спросила она.

– Смех бывает разным, – сказал Мелюхин, прекратив смеяться. – Сейчас я смеюсь, потому что смущен.

Марфа встретила с Мелюхиным взглядом и впервые сразу же не отвела его. Глаза его, ясные, голубые, были полны какой-то печальной радости, известной только ему и необъяснимой даже для него. Мелюхин пристально смотрел на Марфу, будто в глубине ее глаз стремился рассмотреть что-то незаметное, скрытое, потаенное, и, наконец разглядев это, он несколько раз моргнул и вновь улыбнулся, но так, как улыбаются чему-то тому, что вызывает благоговение и трепет.

– Где твоя жена? – прервала Марфа этот диалог безмолвных и многозначительных взглядов.

– Она в номере, – сказал Мелюхин. – Сегодня ей нездоровится.

– Что с ней?

– Головная боль. Такое часто бывает... – отмахнулся Мелюхин.

– Я имею в виду ее ноги, – перебила его Марфа.

– Они повреждены, – сказал Мелюхин, при этом выражение его лица ничуть не изменилось. – Это случилось еще до нашего с ней знакомства. Кажется, она поскользнулась и упала, а ноги угодили прямоком под проезжающую мимо машину...

– Какой ужас! – поморщилась Марфа, хотя не почувствовала по отношению к жене Мелюхина и доли сочувствия.

Когда с ужином было покончено, Мелюхин предложил Марфе немного пройтись по парку. Заметив колебания Марфы, он сослался на то, что в пансионате запрещено курить, и попросил Марфу побыть с ним всего несколько минут, пока он выкурит одну сигарету. После недолгих уговоров Марфа согласилась.

Они не пошли по главной аллее, а свернули в более тенистую часть парка, чтобы не мешать постояльцам пансионата наслаждаться свежим вечерним горным воздухом. Марфа ненавидела табачный дым, но, когда Мелюхин зажег сигарету и вокруг его лица надулось седое облачко дыма, аромат, который долетел и до Марфы, не показался ей резким и горьким, – это был дым хороших сигарет, и Марфа даже глубоко вдохнула его, неосознанно стремясь уловить в нем едва различимый аромат, исходивший от лица и шеи самого Мелюхина.

– У тебя счастливый брак, Марфа? – спросил Мелюхин, выдыхая тускло-серую струю дыма.

– Более чем, – отозвалась Марфа, которую этот прямой вопрос заставил дрожать словно в лихорадке.

Мелюхин не стал провожать Марфу до ее номера: они сдержанно попрощались в холле первого этажа, после чего Марфа по лестнице направилась на свой этаж, а Мелюхин вернулся в ресторан.

Спустя два часа Мелюхин поднялся на четвертый этаж особняка и бесшумно двинулся по коридору. Не дойдя до конца коридора, он остановился у одного из номеров и постучал в дверь. Сначала не было слышно ничего, потом в двери щелкнул замок, и дверь приоткрылась. Несколько мгновений никто не произносил ни слова, потом дверь номера открылась шире, и Мелюхин вошел внутрь...

VII

Это было первое утро за все время пребывания Марфы в пансионате, когда она не позвонила мужу.

Накануне вечером, прощаясь с Мелюхиным в холле, она испытывала глубокое, топкое, пронзающее чувство утраты. Она находилась в состоянии настоящего сокрушения, словно потеряла в жизни что-то истинно ценное и единственно неподдельное, настоящее, полновесное, и только теперь со всем чудовищным оглушением осознала это.

Поднимаясь по лестнице на свой этаж, она испытывала только одно желание – с головой броситься в тот омут исступленного тяготения, который вдруг возник в ней, воронкой закружившись в самой ее груди.

Оказавшись в номере, она не сразу сняла с себя костюм и не сразу стала готовиться ко сну: слишком живы были в ней пылкие чувства подъема, страстности и влечения. И состояние этой горячности ее сознания было так велико, что Марфа долго стояла посреди небольшой гостиной, погружившись в сковывающее оцепенение. Кончики пальцев ее рук были холодны и совершенно нечувствительны, а лицо пылало, словно минуту назад его хлестал беспощадный ветер.

Потом, когда мысли и воспоминания несколько улеглись в ней, она в бессилии опустилась на плетеное кресло рядом со столиком, на котором стояла ваза со свежими цветами, и сидела так, пока в дверь ее номера не постучали.

Ей показалось, что с самого утра она знала, как закончится этот день. Знала она и теперь, кто стоит по ту сторону двери. Знала, что в те два часа, которые она в почти абсолютной неподвижности провела в своем номере, она ждала его. Она также знала, что ожидала его прихода вовсе не сто двадцать минут и не сорок восемь месяцев, а всю жизнь.

За стуком последовала продолжительная пауза. Марфа поднялась с кресла и неспешно прошла к двери, словно каждый шаг ее мог стать причиной обрушения целого мира.

Так же неторопливо она повернула ключ в замке и приоткрыла дверь. Глаза ее почти мгновенно увязли в синеве водоворота исполненного чувства взгляда. Не сразу она решилась ступить хоть шаг, чтобы приблизиться к тому, что она желала вернуть и что представлялось ей потерянным навсегда. Встречая проникнутый трепетной тоской взгляд Мелюхина, она не находила в нем той откровенной, пронзающей страстности, которую обнаружила в глазах Зимина, – он был искренен и непритворен.

Последовав внутреннему убеждению, которое говорило ей, что выбор ее несомненен и безусловен, она отступила на шаг, приоткрывая шире дверь. Мелюхин вошел в ее номер, и Марфа плотно закрыла за ним.

Когда мобильный телефон, оставленный Марфой на прикроватной тумбе, зазвонил, Марфы в номере уже не было. Четыре пропущенных вызова горели на экране, а пятый, короткий, сиротливый, а оттого особенно безысходный, светился именем Филипп.

Наступивший день, казалось, вобрал в себя всю полноту летних солнечных дней Алтая: бездонное небо так и плескалось в шафранных лучах солнца; зелень сосен, лиственниц и кедров пестрила разноголосой альборадой птиц, а едва трепещущий ветер раздувал благоухающие пузыри света. Все гремело вокруг той ласкающей слух симфонией, которую рождает сочетание внешнего гармоничного созвучия и внутреннего согласия.

Марфа спустилась к завтраку, когда за соседним с ее столиком уже заканчивали свой завтрак рыжеволосые мать и дочь. Марфа почему-то обрадовалась их присутствию: их дружеская манера общения между собой не вызывала больше в Марфе чувства зависти, – Марфа

испытывала необыкновенный душевный подъем, который объясняет и прощает многие обстоятельства.

Вскоре в ресторане появился и Мелюхин с женой. Поймав взгляд Марфы, он слегка склонил голову, – жена же его удостоила Марфу тенью улыбки. Мелюхины сели за столик в другом конце веранды так, что Марфа и Юрий могли свободно видеть друг друга.

Словно по негласному или же неизвестному другим уговору, Марфа и Мелюхины закончили завтрак одновременно, поднялись из-за своих столиков и встретились на выходе с веранды. Мелюхин восхитился прелестью утра и заметил, что было бы чудесно поехать кататься на квадроциклах. Марфа согласилась с его мнением, и Мелюхин тут же ухватился за эту ее благорасположенность и предложил ей последовать этой неожиданно посетившей его идее, при этом как бы в оправдание призвав жену поехать с ними, пусть даже она и будет просто сторонним наблюдателем.

Таня, несмотря на всю пышность своих форм, обладала совсем юным, детским лицом и каким-то особенно терпким, взвешенным, прямым взглядом. На предложение мужа она отреагировала благодушно и даже радостно, согласившись со всеми поставленными условиями.

Так Марфа и Мелюхин нашли возможность быть вдвоем и предаваться наполнявшему обоих пылу увлеченности друг другом.

Марфа не чувствовала в душе ни раскаяния, ни смущения, не посещали ее мысли о предательстве и измене: ей казалось, она только теперь догнала то, за чем бежала всю жизнь, – *свой выбор*, который был единственен в ее жизни, а потому представлялся ей абсолютным и безусловным. Она ни на секунду не задумывалась ни о Филиппе, ни о Тане, – она мчалась теперь без оглядки туда, куда несли ее паруса видений и фантазий, подгоняемые мыслью о независимости и решительности. Она будто лишилась теперь своего спутника – одиночества, которое всегда сопровождало каждый ее день. И ощущение этой своей единоличности, самодостаточности пьянило ее, заставляя чувствовать себя редкостной, исключительной, желанной и привлекательной, какой она в полной мере не чувствовала себя никогда.

Мелюхин, под стать воспламенившимся чувствам Марфы, благоволил им и даже еще больше распалял их, неотступно следуя за ней и не упуская случая коснуться ее, обнять ее, разжечь в ней пламень страсти, кроткий, неугасимый, самозабвенный. В последующие несколько дней они не отходили друг от друга ни на шаг, будто оба ждали одной только этой встречи, чтобы заключить друг друга в объятия и никогда больше не отпускать друг друга. Марфа отдавалась Мелюхину со всей своей неистраченной, долгое время бывшей заключенной в душных оковах сетований и обид страстностью, с восторгом упиваясь ею.

Дни, неисчерпаемые, проникнутые вдохновением лета и умопомрачением страсти, кружили голову, дурманя мысль, чувства – все то, что позволяет человеку видеть, слышать, ощущать и подвергать анализу здраво, твердо и решительно.

Теперь, когда Марфе все же приходилось отвечать на звонки мужа, которые вызывали в ней только нетерпение и укоризну, она говорила с ним сухо, вновь чувствуя невольно подступающее к горлу раздражение.

– Ни к чему нам так часто звонить друг другу, – сказала она как-то Филиппу. – Я не могу быть привязана к телефону. Я хочу отдохнуть от всех этих звонков и бессмысленных разговоров.

– Конечно, – обескураженно и несколько растерянно ответил Филипп. – Прости мне мою навязчивость, – сказал он, выдержав короткую паузу. – Я просто очень скучаю по тебе...

– Если бы это было так, ты бы приехал, – с упреком выпалила Марфа и тут же осеклась, испугавшись, что Филипп передумает и приедет к ней. – Впрочем, я сама скоро вернусь домой... – быстро добавила она.

Но мысль о возвращении в Москву казалась Марфе невероятной, даже неестественной, словно не было его, этого города, с его тоскливыми дворами, серыми улицами, безликими квар-

талами и неулыбчивыми людьми. Прелесть Алтая, необъятный простор, окружавший сбывшееся желание сердца, создавали ощущение чего-то бесконечно-прекрасного, будто вечно будет и это самозабвенное упоение, и неудержимая страсть, и обволакивающее чувство осуществленности самых несбыточных грез.

Та быстрота, с которой развивались отношения между Мелюхиным и Марфой, казалась им самым естественной и нормальной, будто всю свою жизнь они ждали встречи друг с другом, ждали этой возможности одарить друг друга неисчерпаемым светом любви и хранили в себе его, чтобы теперь излить друг на друга поток восторженных взглядов, ласк и мимолетных слов.

Они почти не говорили друг с другом, разве только изредка перекидывались парой фраз о непостижимости путей судьбы, о странности переплетений человеческих жизней и о своей встрече, случайной, а оттого закономерно-правильной.

Их отношения, яркие для них самих, оставались нераскрытыми для других, и оттого их связь доставляла им особенное, острое удовольствие. Их тайна, явная, откровенная, гласная, оставалась загадкой для окружающих. По крайней мере, так думали сами Мелюхин и Марфа.

При посторонних они держались спокойно, как старые приятели, не особенно соскучившиеся друг по другу, на деле же трепеща от волнения и желаний. Украдкой укрываясь от прорзорливых глаз публики, они предавались чувству неизмеримого азарта вдохновенности своею тайной.

Жена Мелюхина, по словам Юры, обладала слабым здоровьем и совершенно расстроенными нервами, отчего часто мучилась головными болями, а особенно – болями в ногах, и нередко не спускалась к завтраку или ужину, иной раз весь день не покидая своей комнаты. Мелюхин характеризовал жену как довольно истеричную особу, которая, к слову, была незлоблива и незлопамятна. На замечание Марфы о том, что Таня показалась ей довольно спокойной и даже скромной девушкой, Мелюхин ответил, что таковой она, быть может, и являлась бы, если бы не травма, которая мучила как ее тело, так и душу. В порыве сентиментальной откровенности Мелюхин признался, что женился на Тане потому, что она, красивая, гордая, но совершенно слабая и беззащитная, вызвала в нем чувство жалости, и в нем возникло желание спасти ее, вызволить из того замкнутого круга ада, в котором она была. Быть может, он и любил жену, как любят неродную дочь, сводную сестру или позабытого друга, но уже давно не питал к ней страсти. И мысль об этом согревала в Марфе самые сокровенные ее мечты и чаяния.

Именно Таня предложила Мелюхину поехать на Алтай. Ее здоровье и подавленное эмоциональное состояние нуждались в разгрузке и успокоении, а нетронутость природы, горный воздух и удаленность от суеты являлись лучшими лекарствами для души и тела.

Марфа не испытывала жалости к Тане: она видела в ней только человека, который имел дерзость присвоить себе то, что никогда не принадлежало ему, а было предназначено для другого – для нее, Марфы. А холодное отношение Мелюхина к жене, ее немощь и близость положения только больше разжигали пряное послевкусие их коротких, упоительных встреч.

Марфа не могла дать определения накрывшему ее с головой вихрю чувств и желаний, который закружил ее в своем плотном, эластичном, тугом круговороте. Она не задавалась вопросом, любит ли она: ей казалось, что круговерть эта – любовь, о которой так много говорят и рассуждают; что все люди вокруг – слепцы, а Филипп и Таня – только побочные, случайные продукты великого чувства, которые не могут любить их, Юру и Марфу, только потому, что Юра и Марфа не любят их. И Марфе казалась ее прежняя жизнь смешной и значимой одновременно, ведь если бы сложилось все иначе, то она не оказалась бы здесь, не была бы свободна от всех привязанностей и ложных стремлений, не была бы готова встретить то, что желала больше всего на свете.

Теперь Марфа часто задумывалась о том, что если бы тогда, четыре года назад, Мелюхин не выдержал бы паузу в развитии их отношений, если бы он допустил зарождение их, то ничего бы не вышло из того нового, неокрепшего, требующего чувства, которое руководило

Марфой. Она говорила себе, что в тот момент совершенно не готова была к тому, что следует за обоюдным признанием. Отношения же с Филиппом в расчет она не брала – чувства, которые она испытывала к нему, были совершенно иными или же они и вовсе отсутствовали, как теперь, познавшая истинную страсть, думала Марфа. Тогда она поддалась воле властной руки времени, не стремясь сопротивляться тому, что давало такой мощный отпор, – требованиям переменчивых в своем настроении событий.

Отныне Марфа чувствовала в себе силу и решимость противостоять им, следуя исключительно призыву внутреннего голоса и даже не оборачиваясь на зов множества голосов извне.

Новый шанс любить Мелюхина и возможность получить ответную любовь, выполнимость которых Марфа не допускала даже в своих самых фантастичных мечтах, вселяли в нее веру в неслучайность их встречи, в предначертанность сплетения их судеб, в допустимость их самих как единого целого. И мысли об этом так вдохновляли Марфу, что на пятый день их совместного пребывания в пансионате она готова была оставить Филиппа и даже поделилась этим своим намерением с Мелюхиным, на что он ответил ей, что так же готов развестись с Таней, потому как возможности совместной жизни с ней в сложившихся обстоятельствах он не видел.

Так приближалась к концу неделя, одарившая двух людей случаем жить так, как они хотели бы жить сами, не ворвись в направление их пути капризный ветер чужих выборов и собственных неопределенных стремлений. Марфа решила остаться в пансионате еще на неделю, чтобы уехать из него одновременно с Мелюхиными, и сообщила о своем решении мужу, сызнова сухим, беспристрастным, раздражительным тоном.

На седьмой день этой первой упоительной недели, выйдя утром из своего номера, Марфа обнаружила под дверью конверт, в котором лежали билет на экскурсию к водопадам и короткая записка от Мелюхина, в которой говорилось о его нетерпеливом ожидании освобождения от связывающих их обоих уз.

Экскурсия была назначена на полдень того дня, поэтому сразу после завтрака, во время которого Марфа и Мелюхин по обыкновению сидели не вместе, но перекидывались друг с другом многозначительными взглядами, Марфа вернулась обратно в свой номер, переоделась в теплый спортивный костюм, бросила в рюкзак бутылку с водой и упаковку с сушками и, спустившись вниз и выйдя из пансионата, направилась к вертолетной площадке, у которой был организован сбор группы.

VIII

Вертолет поднимался над вертолетной площадкой, раздувая клубы мелкой пыли. Крыша пансионата постепенно тонула среди хохлатых сосновых макушек, зеркало озера сужалось, принимая очертания огромной капли росы, оставленной забывчивой зарей, а за зеленой пенистой полосой парка простиралась волнистая межгорная долина, окруженная горбатыми спинами пригревшихся под струящимися лучами солнца каменных великанов.

Группа состояла из шести человек. Помимо Марфы и четы Мелюхиных, здесь были еще двое молодых мужчин и девушка, с упрямым, довольно миловидным лицом и необычайно красивыми, прямыми, длинными темными волосами, которые на солнце переливались медно-красными оттенками. Рядом с пилотом сидела проводник, маленькая ростом, но бойкая и крепко сложенная женщина.

Все выглядели здоровыми, бодрыми, предвкушающими захватывающее дух путешествие, включавшее полет над горными хребтами, живописными долинами и межгорными впадинами, пеший переход по дикому межгорью и созерцание пестрых лент водопадов, что то с грохотом искрящимися локонами ниспадали с отвесных выступов и каменистых ступеней, то благонаправленным лоскутком прижимались к самым ущельям, едва проступая на поверхность и тут же исчезая в узкой расселине. И Таня, сидевшая рядом с мужем, на фоне всеобщего воодушевления и бодрости выглядела безлико и нелепо, и даже красота ее лица не спасала ее от этого шлейфа неисцелимости, который повсюду следовал за ней. Не столько кривизна ее ног и деформированный ее шаг создавали вокруг нее ореол обреченности, сколько безысходность в ее потухшем взгляде и уныние, которым наполнилась каждая ее вымученная улыбка, каждый вздох и каждое слово. Впервые Марфа разглядела их в ней, и открытие этого свойства натуры Тани невольно зародило в ее душе предчувствие катастрофы, стихийной, внезапной, но предсказуемой. Марфа не находила объяснения этому своему чувству, но оно было явным и определенным, и Марфа, хотя старалась подавить в себе его, ощущала его самою кожей. В стремлении избавиться себя от этого цепкого, едкого чувства, Марфа уверяла себя, что увидела в Тане тень обреченности только потому, что знала, что скоро Мелюхин обо всем расскажет ей, что скоро Тане придется принять известие о разводе, что она, следующая всюду за мужем, на деле же не любима им. И тогда в Марфе, вопреки ожидаемому чувству облегчения от предвкушения скорого счастья, волной поднималось разочарование. В чем? Необъяснимым приливом оно заполняло грудную клетку, поднимаясь к самому горлу. Разочарование это, словно незримая ось, вонзалось в самое сердце, а поверх него нанизывались пласты все того же предчувствия скорой катастрофы. И Марфа старалась как можно реже смотреть на Таню, хотя взгляд ее как будто сам собой притягивался к ней.

Когда вертолет, миновав полторы тысячи секунд полета в объятиях склонов гор и высоты небес, сделал первую остановку и все пассажиры вышли на открытую площадку одного из невысоких горных порогов, Мелюхин, улучив момент, сказал Марфе, что Таня ехать была не должна. Он объяснил, что хотел провести полный день наедине с ней, Марфой, но Таня, узнав, что он собирается лететь на водопады и вовсе не собирается брать ее с собой, считая, что путь к ним является слишком сложным и фактически непреодолимым для нее, твердо решила сопровождать его, отвергая всякие заверения. Группа должна была состоять из пяти человек, так что уже на месте пришлось договариваться как с пилотом вертолета, так и с проводником о еще одном пассажире. Новость об этом поступке Тани несколько удивила Марфу, однако она тут же испытала подобие облегчения: Таня уже догадывалась об увлеченности своего мужа, потому и не захотела отпускать его одного, зная, что Марфа наверняка тоже полетит с ним.

Однако Таня оставалась все так же мила и любезна с Марфой, словно не знала о связи ее с мужем и не догадывалась об их намерении освободить себя от уз брака.

К первому водопаду, что ниспадал в кольцо гладкого озера, путь был довольно прост, и потому Таня уверенно-нетвердым шагом следовала за проводником, не отставая ни на шаг от группы. Марфа и Мелюхин шли чуть впереди, то и дело оглядываясь (Мелюхин беспокойно оглядывался на жену, а Марфа безотчетно поворачивалась вслед за ним). У водопада они провели довольно много времени, исследуя его со всех сторон. На какое-то время Таня вдруг исчезла из вида, но ни Мелюхин, ни Марфа не заметили этого: они поднялись по тропе, что вела к самому верху водопада, и достигли небольшой речки, что, разбиваясь о каменный порог, громко шипела, устремляясь серебряной лентой вниз и воздушной фатой нависая над гротом.

Здесь, даже сквозь шум воды, они вдруг услышали крик, донесшийся до них с озера. Они не обратили внимания на этот крик, занятые собой, друг другом и потокающей их прихотью природой. Только спустившись обратно, они узнали, что Таня, оступившись, едва не сорвалась с уступа, но вовремя была поддержана одним из членов группы, оказавшимся в этот момент рядом с ней. Кричала проводник, призывая Мелюхина, но так и не смогла дозваться его. И теперь Мелюхин ни на шаг не отходил от жены, неустанно напоминая ей о том, как он просил ее остаться в пансионате.

К следующему водопаду Таня уже не пошла, оставшись с пилотом у вертолета. Мелюхин вызвался побыть с ней, но Таня наотрез отказалась принимать его предложение. Мелюхин не стал настаивать на обратном.

Перелет от места первой стоянки к месту второй занял чуть больше двадцати минут, однако на сей раз минуты эти не были так безмятежно-поэтичны. Почти сразу же после взлета вертолет стало клонить на левый бок, но на вопрос одного из пассажиров – высокого, крепко сбитого темноволосого мужчины – о том, является ли это признаком неисправности вертолета, пилот ответил, что такое бывает, когда вертолет встречает слишком сильное сопротивление ветра.

И в самом деле: если утром погода нашептывала мелодично-протяжный напев пленительной партии ветра, то теперь кроны деревьев вновь недовольно потрескивали под налетающими на них штормовыми порывами, будто вновь вернулась грозная буря, облаченная в мантию тьмы. Марфа отметила эту перемену погоды, но ожидала, что вихри эти так же скоро успокоятся, как и тогда, когда она наблюдала этот беспощадный набег беспокойной стихии на сосновый парк. Но ветер как будто только усиливался, на небе стали собираться комки серых облаков, а брызги водопада разбивались о лица и руки подходящих к нему, словно он прогонял несвоевременно посетивших его гостей.

Теперь группа пробыла у водопада недолго. Сделав несколько снимков, все стали группироваться к проводнику. Облака на небе сгущались, и скоро солнце скрылось за ними, и все посерело, обесцветилось, померкло.

Марфа невольно прижималась к Юре – ее пленил безотчетный страх, какой посещает людей тогда, когда их настигает неподвластная им сила природы. И даже вернувшись к вертолету, Марфа не отпустила руки Мелюхина: она продолжала крепко сжимать ее, готовая с вызовом встретить всякий взгляд Тани. Но Таня уже сидела в кабине вертолета и как будто не видела вызывающего сплетения рук своего мужа и его приятельницы.

Вертолет поднялся над площадкой, взмыл в эфир пространства и направился к бело-серым полосатым наконечникам гор, возвышавшимся над ржаво-изумрудными холмами межгорий.

Вертолет снова начало клонить влево. Теперь уже с заметным напряжением пилот старался выровнять его, но кабина упрямо возвращалась в прежнее положение. Каждый чувствовал то сопротивление, которое встречал двигатель вертолета, надрывно гудевший под ногами. Все шумело, выло, прерывисто вздрагивало. Вдруг раздался громкий треск, будто кто-то бросил в окно камень, и вертолет содрогнулся, словно в испуге. На какое-то время все стихло, и вертолет вроде бы полетел ровнее. Но вот он снова накренился, теперь уже вправо, и на ско-

рости полетел к самым горбатым склонам, еще совсем недавно казавшимся мягким покровом, а теперь представлявшимся твердой плоскостью с выпиравшими из нее острыми зубцами.

Никто не издавал ни звука. Марфа в испуге смотрела на открывавшуюся под ними горную цепь, на горизонт, который качался подобно весам, на лица членов группы, каждое из которых выражало недоумение и страх. И только посмотрев на лицо Тани, Марфа больше не могла смотреть ни на горные хребты, ни на других членов группы, – так изумило ее выражение этого лица.

На нем не было больше теней обреченности и подавленности – оно было ясным, совершенно спокойным, даже счастливым и необыкновенно красивым. Казалось, что-то распахнулось во взгляде девушки, что-то отворилось в ее душе и сердце, и теперь и душа ее, и сердце наполнялись чем-то незримым, питательным, необходимым для нее. При каждом колебании двигателя губы ее вздрагивали – не от напряжения или страха, а от улыбки, которая едва касалась их. При каждом повороте вертолета она не впивалась пальцами в сиденье, как делали это другие, а с непостижимым умилением смотрела на открывавшиеся при наклоне виды, будто наслаждаясь этой самой мучившей вертолет стихией. И Марфу неожиданно посетила ошеломляющая мысль: Таня не боялась того крушения, которое могло произойти, а даже как будто ожидала его. Осознание этого невообразимого отсутствия страха перед смертью, этого неимения желания уцепиться за жизнь, ухватиться за тонкий лоскуток ее, так поразило и так испугало Марфу, что она с силой сдвинула пальцами свои колени, во все глаза глядя на Таню.

В голове у Марфы промелькнуло воспоминание о случае на водопаде: быть может, Таня вовсе не оступилась? Быть может, она поехала с ними вовсе не для того, чтобы следить за мужем, а чтобы свести счеты со своей жизнью? Марфа даже охнула от необыкновенно изумившей ее догадки, но никто не обратил на нее внимания. Пусть даже она видела в лице Тани соперницу, воровку, но менее всего она хотела бы, чтобы их с Мелюхиным счастье было омрачено подобной трагедией. В тот момент, когда вертолет в последний раз подпрыгнул в воздухе, словно напорвшись на выпиравшую из воздушного пространства кочку, Марфа решила по успешном приземлении обсудить свое предположение с Мелюхиным, дабы избавить свою жизнь, его и жизнь самой Тани от непоправимого.

– ...Предположительно, неисправность двигателя, – сквозь оглушительный шум раздала Марфа голос пилота. – Необходима аварийная посадка...

Голос оборвался. Вертолет снова развернуло, и Марфа поняла, что он быстро снижается. Уже можно было четко разглядеть верхушки деревьев на склонах, прогалины и едва ли не саму траву на них.

Вертолет приземлился спустя сорок минут тряски, страха и потрясения. Пилот совершил посадку на старую вертолетную площадку, о которой подумал сразу, как только вертолет сбило с курса и отнесло на несколько километров севернее намеченного маршрута. Кругом простиралась тайга, и вертолетная площадка некогда функционировавшей туристической базы была единственным местом, на которое представлялось возможным в сложившихся условиях посадить вертолет. Инструкциями строго запрещалось привозить сюда туристов, однако иного выхода у пилота не было: двигатель отказывал, и могло произойти крушение.

Итак, вертолет благополучно приземлился. Пилот пытался выйти на связь с администратором пансионата, но связи не было. Обеспокоенные жестким полетом, с разрешения проводника туристы стали выходить из вертолета. Ветер, бывший здесь особенно пронзительным и обжигающе-холодным, нещадно бил по лицу, груди, сбивая с ног.

Марфа одной из первых вышла из вертолета. Ежась под порывами ветра, она осмотрелась.

Вертолетная площадка находилась у самого подножия горы, почти совсем лысой, с серыми буграми выпиравших со склонов камней, угрожающе нависавших над площадкой. С одной стороны площадки был крутой обрыв, за которым просматривалась необозримая

долина, расколота тонкой серебрящейся нитью реки; с другой стоял редкий сосновый лес, в сгущавшихся сумерках казавшийся мрачным и тоскливым. Сузив глаза и приоткрыв губы в стремлении втянуть ртом воздух, потому как ветер был так силен, что перехватывало дыхание, Марфа вгляделась в тени, что темнели среди тонких сосновых стволов. Присмотревшись, Марфа различила в этих тенях очертания небольших одноэтажных деревянных домиков, совершенно одинаковых между собой. Марфа машинально сделала несколько шагов по направлению к сосновой роще, по пути мельком обернувшись на выходявших из вертолета пассажиров.

В этот момент из вертолета при помощи крепкой поддержки Мелюхина выбиралась Таня. Ступив на землю, она одной рукой, словно в изнеможении, оперлась на трость, другой рукой внезапно схватила себя за горло, побледнела, вскрикнула и потеряла сознание...

Достаточно продолжительное время никто из членов группы не отходил от вертолета дальше, чем на десять шагов, – все ожидали, что с минуты на минуту пилот свяжется с диспетчером или администратором пансионата и за группой прилетит другой вертолет. Но никто на связь не выходил; сигнала не было и на мобильных телефонах.

Поднять вертолет с пассажирами в воздух пилоту представлялось действием рискованным, а потому бессмысленным по причине того, что до пансионата они едва ли дотянут, а в лучшем случае только поменяют место аварийной посадки. Пилот объяснил все это проводнику, а та донесла информацию до группы, однако положение членов группы от этого сообщения не изменилось: все продолжили стоять у вертолета, ожидая, пока пилоту все же удастся связаться с пансионатом.

Когда сумерки густой серой пеной накрыли вертолетную площадку, скрыв от глаз очертания долины за обрывом и нить реки, пилот самолично объявил о том, что на связь с диспетчером выйти не удастся, что вертолет лететь дальше не может и что следует подождать некоторое время, пока ситуация со связью прояснится, заметив, что, возможно, ждать придется до утра. Провести ночь в тесной кабине вертолета являлось непривлекательной перспективой для всех, поэтому проводник, вынув из своего рюкзака карманный фонарик, предложила членам группы пройти к заброшенной туристической базе, что темнела за сосновым перелеском. Пилот выразил свое сомнение относительно этой идеи, отметив, что базой давно не пользовались и что дома могли изрядно обветшать, но проводник только молча приняла это его замечание, одарив пилота отрешенным взглядом человека раздумывающего, сомневающегося и прикидывающего все «за» и «против». Наконец, утвердившись в какой-то своей мысли, проводник закинула за плечо рюкзак и направилась к перелеску. Группа смиренно последовала за ней.

По мере приближения к строениям туристической базы тропинка, по которой они шли, расширялась, вливаясь в изогнутые каналы дорожек, устланных тротуарной плиткой. Каждая из дорожек вела к отдельному одноэтажному деревянному домику с многощипцовой крышей и высокими окнами с решетчатыми ставнями. Домов было восемь, и почти все они были совершенно одинаковые. Только один, выполнявший, должно быть, когда-то административную функцию, отличался от других: двухэтажный, бревенчатый, с открытым балконом на втором этаже и заколоченным входом на первом, он возвышался чуть в стороне, словно председатель какого-то важного собрания. Территория туристической базы была ограждена черным металлическим забором, краска на котором еще не успела облупиться. Возле главных ворот, теперь раскрытых настежь, стояло небольшое строение – должно быть, будка охранника.

По всей видимости, когда-то это была процветающая туристическая база, теперь находившаяся в состоянии упадка.

Однако в этом царстве духов природы и бессилия человека не выглядели нелепо ни тротуарная плитка, промеж которой уже просунули свои вездесущие головки зеленые травинки, ни бревенчатые строения, темневшие среди пышногровых сосен, ни металлический забор,

призывно распахнувший створки ворот, – все построенное рукой человеческой и отданное в распоряжение всемогущей силы земли было объято вуалью подобия всего естественного, первозданного, словно не человек построил эти дома, а сама природа заново создала их, обернув их в удобную ей оболочку и населив их задуманными ею формами жизни.

Слабый плоский свет карманного фонарика казался совершенно бесполезным в этой империи тьмы и патриархата неприрученной, неукротенной могучести промысла непознанной и непостижимой натуры единовластной земли. Фонарик отбрасывал беспомощный рассеянный свет, что небольшим бесцветным шаром собирался у ног проводника, иной раз в темноте врезаясь в стену дома, деревянную ступень или же в шершавый ствол дерева. Так, бесшумно ступая по заросшей травой дорожке, группа вошла на территорию базы, неустанно оглядываясь на темные квадраты строений и серые просветы между ними. Каждый невольно ожидал, что база все же не пустует и что вот-вот зажжется в одном из окон свет и к ним выйдет сторож или кто-то из членов администрации. Но света нигде не было, а по дорожкам шуршал своим неуклюжим шагом только совершавший вечерний променада неугомонный ветер.

Проводник прошла к одному из домиков и нажала на ручку входной двери – дверь оказалась запертой. Тогда один из членов группы, тот самый крепко сбитый темноволосый мужчина, который первым из пассажиров обратил внимание на неисправность вертолета, подошел к двери и, не прикладывая особых усилий, рывком дернул ее за ручку – дверь тут же с ворчливым треском открылась.

Внутри домика была кое-какая мебель: покрытый пылью круглый столик, пуф в прихожей и две совмещенные кровати в комнате. Спинки кроватей были отделаны шпоном, что в некоторых местах пузырился и отклеивался, – под шпоном просматривалась прессованная древесная стружка. Скрипучий дощатый пол был слишком пыльным; пустой карниз, висевший над одним из окон, упал: остальные же окна были так же голы и темны из-за закрытых наружных ставен. На одной из стен висели прибитые к ней полки, также пыльные и облупившиеся от сырости и смены температур.

– Подождем здесь, пока пилот свяжется с диспетчером, – сказала проводник, ставя фонарик на стол и направляя его свет к потолку. – На улице стоять холодно.

– Да и здесь не теплее, – отозвался кто-то из группы.

Обернувшись на полный скепсиса голос, Марфа встретила глазами с недоверчиво-сомневающимся взглядом молодого человека, так же обладавшего крепким телосложением, как и первый, но с совершенно подавленным выражением на лице. Он посмотрел на Марфу так, будто он один оказался в ситуации абсолютно непредвиденной и нештатной. Марфу возмутила эта жалобность в его глазах, и она пренебрежительно отвернулась от молодого человека, подавив при этом глубокий вздох.

Эту нетерпимость по отношению к проявленной молодым человеком, мужчиной, слабости духа Марфа испытала не потому, что ей были свойственны высокомерие и надменность, не допускавшие обнаружения в другом, особенно в мужчине, безвольности и слабохарактерности, хотя самой Марфе были присущи именно эти качества, – она так категорично отвергла подобную обескураженность потому, что сама испытывала совершенно иные чувства: сквозь испуг, который зародился в ней так же, как и в других пассажирах, и трепет перед обликом покинутого места и ликом опасности, в ней пробивался колосок удовольствия. Она предвкушала что-то новое, неиспытанное доселе, а потому увлекательное и прелестное своей диковинностью и нестандартностью.

Из вертолета принесли еще два фонаря; на окнах открыли ставни, так что в комнате появилась относительная видимость. Кто-то нажал на выключатель у двери, надеясь включить верхний свет, но электричества не было. Кровати раздвинули, немного стряхнули с них пыль и расположились на жестких древесно-стружечных плитах.

В домике было холодно и сыро. У одной из стен была выложена каркасная печь, облицованная глазурованной плиткой, что местами была отколота. Но печь растапливать не стали: не было уверенности в том, что трубы не забиты и группа не отравится угарным газом. К тому же все были абсолютно уверены в том, что вот-вот придет пилот и объявит о скором прибытии спасательного вертолета.

Никто не спрашивал проводника о причине запустения туристической базы: что она собой представляла, кому принадлежала и что послужило основанием для того, чтобы сюда перестали приезжать люди, – мысли всех были заняты неожиданной аварией, размышлениями о предстоящей ночи и поиском объяснения невозможности выйти на связь с администратором «Яшмы» или диспетчером. Кто-то выносил предположение о грозном фронте, кто-то говорил о недолжном обслуживании вертолета, а кто-то даже видел в случившемся чей-то расчет. Так прошло несколько часов ожидания, пока утомленные переживаниями, размышлениями и впечатлениями туристы не ощутили непреодолимую усталость.

Спать было негде и не на чем. Молодые люди решили вскользя обыскать другие дома базы в надежде найти что-нибудь подходящее на матрасы, подушки и одеяла. Спустя некоторое время они вернулись с сообщением, что в одном из домиков они нашли раскладывающиеся диван и кресло, на которых могли разместиться женщины.

Планировка другого домика ничем не отличалась от первой: те же прихожая, комната с каркасной печью и нефункционирующая ванная. Даже в полумраке и белом свете фонарика было видно, что обивка дивана, стоявшего у стены, была совсем выцветшей, однако целой и даже выглядевшей почти новой, если бы не пятна, образовавшиеся от воды, что во время дождя текла с проломленной упавшим на нее деревом крыши.

Марфа, Таня и девушка с упрямым лицом и медно-красными волосами, которые в свете фонарика приобретали кофейный оттенок, остались в этом домике с диваном, а молодые люди вернулись в дом с кроватями. Проводник же пошла к пилоту, который продолжал свои тщетные попытки связаться с диспетчером.

Диван был совсем холодный, но, к счастью, сухой и не пах плесенью. Марфа предложила Тане и девушке, которую, как она узнала, звали Марьяной, лечь на диван, а сама она расположилась бы в кресле, однако Таня сказала, что всем было бы лучше, если бы в кресле разместились она. К слову, это были первые ее слова после недавнего обморока; трудно было в темноте рассмотреть лица, но Танино казалось Марфе совершенно белым, и только губы выделялись на нем – неестественно темные. После обморока Таня выглядела так, будто взору ее открылось нечто ужасное, не оставляющее надежды, а потому ошеломляющее своей безысходностью и неизбежностью. Мелюхин был все время рядом с женой, изредка бросая короткие обеспокоенные и в то же время озадаченные взгляды на Марфу, которая отвечала ему только недоуменными кивками головы. Марфа хотела поговорить с ним о своих домыслах насчет его жены, посетивших ее в вертолете, но случая незаметно остаться наедине в тот вечер им не представилось. Когда Таня отозвалась на предложение Марфы, голос ее прозвучал твердо и убедительно. Возражать с ней ни Марфа, ни Марьяна не стали.

Надев на голову капюшон толстовки и натянув на пальцы рук ее рукава, Марфа легла на диван, прижав к груди колени и обхватив их руками, чтобы согреться. Марьяна легла на другой стороне дивана и почти сразу уснула – в тишине дома слышалось ее мерное, сопящее дыхание. Таня же долго не спала. Сквозь приоткрытые веки Марфа видела ее искривленную фигуру, выделявшуюся на фоне серого проема окна с раскрытыми ставнями. Таня долго стояла, застыв подобно глиняной статуэтке: будто затаив дыхание, она смотрела на просматривавшиеся из окна домики базы, на огонек в окне дома, где расположились мужчины, на сосны, темневшие налитыми стрелами. А Марфа, поначалу с непониманием рассматривавшая замершую тень Тани, скоро уснула, потому как ей было все равно, что занимает мысли жены ее любимого.

IX

Утром Марфу разбудила какая-то птица, громко и ритмично чирикавшая свой мотив под окном.

Не сразу к Марфе пришло осознание того, где она находится. Потом, когда сон несколько отступил, Марфа вспомнила события прошедшего дня и, взглянув на наручные часы и обнаружив, что всего только пять часов утра, разочарованно вздохнула. Марьяна еще крепко спала позади нее, отвернувшись к противоположному краю дивана; спала и Таня, робко вжавшись в разложенное кресло так, будто она заняла чужое место и ее могли в любой момент прогнать с него. Марфа чувствовала себя совершенно бодро и поняла, что больше не уснет, и мысль о том, что еще какое-то время ей придется ждать пробуждения остальных, тяготила ее.

Марфа решила пройти к вертолету: вдруг кто-нибудь так же, как и она, уже проснулся или же появились какие-нибудь новости относительно спасательного вертолета?

Быстро светало. Когда Марфа вышла из домика, птичье пение стало еще громче – мир уже пробудился ото сна, и только человек продолжал наслаждаться полубытьем. На улице было холодно; дыхание, вырываясь изо рта и носа, превращалось в пар, что седым облачком еще некоторое время держался в пространстве, не теряя своей формы. Небо было совсем серым, низким и тяжелым. Ветер несколько утих, однако продолжал безудержно гнуть макушки сосен, по земле проносясь только слабым дуновением.

Ожидания Марфы оправдались: пилот вертолета и проводник уже бодрствовали – они стояли у раскрытой кабины вертолета и о чем-то говорили вполголоса, при этом с настойчивостью и упрямством глядя друг на друга.

– Доброе утро! – поздоровалась Марфа, приближаясь к ним. Разговор их тут же оборвался, и пилот и проводник обернулись к Марфе. – Есть какие-нибудь новости?

Проводник и пилот переглянулись между собой – на лицах обоих Марфа видела задумчивую отрешенность.

– Что-то случилось со связью, – сказал пилот. – Я не могу ни с кем связаться...

– Вчера мы должны были вернуться к вечеру, – заметила проводник. – В любом случае за нами должна вылететь поисковая группа.

– Мы немного отклонились от курса, – вставил пилот, – но, думаю, это не помешает им в скором времени обнаружить нас. Место здесь открытое, и в пансионате о нем знают. Наверняка в ближайшее время все уладится.

Пилот улыбнулся Марфе, и та ответила и ему, и проводнику улыбкой. Утвердительно кивнув на заверения проводника и пилота, Марфа направилась обратно к туристической базе.

Марфа не была склонна к излишней эмоциональности в восприятии событий, происходивших с ней и вокруг нее, однако что-то в голосе, глазах, лице и самих словах пилота и проводника заставило ее на мгновение испытать чувство обманутости и даже безвыходности. Когда она прошла на территорию базы и окинула ее взглядом, в ней зародилось ощущение стесненности, связанности, словно кто-то намеренно доставил их в это место, заключив их в изолированную от внешнего мира область. Но ощущение это исчезло так же неожиданно, как и появилось, – бросив взгляд на домик, где заночевали мужчины, в Марфе дрогнул прилив радости: она подумала о Мелюхине, об их будущем, и ощущение безвыходности и обманутости тут же исчезло.

Все пробудились ото сна в начале седьмого утра. Когда информация о том, что положение группы оставалось неизменным, была услышана и принята членами группы, Марьяной, хваткой, темпераментной, инициативной, был поставлен вопрос о завтраке. В вертолете находился довольно большой контейнер с съестными припасами: бутылками с водой, сухарями, упакованными тостами с ветчиной, миниатюрными овощными и мясными консервами и небольшими

плоскими баночками с вареньем. Так был организован небольшой завтрак, который состоялся на кроватях из ДСП за маленьким круглым столиком.

– Эта база не функционирует? – спросил Лев, тот самый молодой человек, который помог проводнику открыть дверь в дом.

При этом вопросе взоры всех обратились к проводнику, которая в ответ только безмолвно отрицательно покачала головой.

– Почему? – удивленно протянул Максим, критично настроенный молодой человек. – Такую базу отгрохать и допустить такое запустение... – Максим разочарованно поморщился: – Ее явно кто-то не поделил.

Проводник ничего не ответила. Она глубокомысленно разглядывала начинку тоста, который ела неспешно и вдумчиво.

Обсуждение судьбы заброшенной туристической базы на этом прекратилось. Ни проводник, ни пилот эту тему разговора не поддерживали, а все члены группы были на Алтае впервые и не владели сведениями о появлении и исчезновении пансионатов, турбаз и санаториев в этом крае. На какое-то время разговор прервался, однако скоро новая тема посетила размышления его участников: турбаза, в которой они оказались, находилась намного севернее расположения пансионата «Яшма», к тому же значительно выше, так что здесь было несравнимо холоднее и ветреней. Ожидание спасателей растянулось на всю ночь и могло длиться еще неопределенное время, за которое, продолжая пребывать в таком холоде и не имея возможности должным образом согреться, легко можно было заработать простуду. Мелюхин предложил проверить вытяжку в печах и попробовать их растопить. Его предложение было поддержано.

Сразу после завтрака Мелюхин, Лев, Максим и пилот вертолета занялись печами двух открытых накануне вечером домиков. Проводник ушла к вертолету, чтобы в случае появления связи сказать диспетчеру местоположение аварийной посадки. Марфа же и Таня во главе с Марьяной отправились исследовать другие строения базы, рассчитывая найти в них то, чем можно было бы укрыться для согрева.

Марьяна предложила начать с бревенчатого двухэтажного строения. Марфа шла за Марьяной, замечая, что Таня едва поспевает за ними. Марфа вообще считала, что от Тани едва ли будет какая-то польза, – ходила она медленно, стоять без трости не могла.

Вход в здание был туго заколочен, и Марьяна предложила разбить стекло и попасть в здание через окно.

– Можно попробовать зайти через черный ход, – кротко произнесла Таня. – Может быть, его не стали заколачивать...

И в самом деле: обойдя здание кругом, девушки нашли дверь, ведущую в подвальное помещение. Дверь также оказалась запертой, однако деревянные наличники на двери отсырели и несколько подгнили, и стоило Марьяне как следует дернуть за ручку, как дверь податливо распахнулась.

Осветив фонариком бетонную лестницу, девушки спустились в подвал.

Марьяна направила свет фонарика на блеснувшие в дневном свете металлические стеллажи, рядами выстроившиеся здесь, на которых, должно быть, хранились когда-то бакалейные товары. Теперь же стеллажи были абсолютно пусты. Девушки направились по узкому коридору в следующее помещение.

Здесь, по всей видимости, когда-то была небольшая кухня, посреди которой темнел металлический разделочный стол, а по периметру были расставлены пустые ящики, которые остались от вынесенного отсюда оборудования.

Из кухни девушки поднялись по невысокой лестнице наверх и, толкнув деревянную дверь, вышли в маленький необставленный зал, залитый серым дневным светом.

Едва ли в здании возможно было найти что-нибудь стоящее – здание было абсолютно пустым. Девушки обошли каждое помещение, и, кроме пыли на дощатом полу, свитков поли-

этилена и отдельных частей от вынесенной отсюда мебели, они ничего не нашли. Только оказавшись в главном холле – таком же небольшом, как и все помещения здания, но по причине необставленности его казавшемся просторным, – где когда-то, по всей вероятности, регистрировали гостей, девушки нашли в нем рассыпанные по полу рекламные листовки.

Подняв одну такую листовку, Марфа прочитала на ней: «Турбаза "Аполлинария" – одна из самых популярных баз отдыха на Алтае! Вас ждут качественное обслуживание и насыщенная экскурсионная программа...» На листовке была изображена счастливая улыбающаяся семья, запечатленная на фоне тех самых деревянных домишек базы, что теперь утопала в зелени завладевшей ею тайги.

– Идем отсюда, – раздался гулкий голос Марьяны. Она, так же как и Марфа, подняла с пола листовку и, просмотрев ее, равнодушно бросила обратно.

Последовав примеру Марьяны, Марфа вышла из холла. Таня пошла за ними, предварительно проследив взглядом за тем, как брошенная Марфой листовка спикировала на пол.

К девяти часам утра ветер снова усилился. Над головой трещали ломаемые порывами ветки, угнетенно скрипели терзаемые бурей стволы сосен. Пепельное небо, нахохлившись, сердито сдвигало густые брови облаков.

К этому времени были вскрыты и обысканы еще четыре домика. В них были обнаружены двухместная кровать с матрацем, два стула, раскладное кресло, столик, точно такой же, как и в первом домике, деревянный гребень для волос, авторучка и забытая кем-то газета от шестнадцатого июня две тысячи девятого года.

Скоро ветер стал приносить с собой не только мелкую пыль и фрагменты веток и сосновых иголок, но и дождевые капли, которые становились все чаще и крупней, штрихами полоусая пыльные стекла. Внезапно из низкого плотного покрова неба хлынули изобильные потоки дождя, объявшего мутной дымкой территорию базы. В этот момент Марфа вместе с Марьяной была в том домике, где девушки провели ночь, – они двигали диван и кресло так, чтобы дождь из проломленной крыши не заливал их. Печь этого домика была совершенно негодной для отопления, и было решено на время ожидания спасателей поселить девушек в соседнем домишке, где и печь, и крыша обеспечивали относительно комфортные условия. Для этого нужно было перенести в него диван и кресло, но разыгравшаяся буря не позволила сделать это, и теперь Марфа и Марьяна прикладывали немалые усилия, чтобы не лишиться себя единственного места для отдыха. Тани с ними не было: вернувшись из административного корпуса, она не стала вместе с ними обыскивать дома, а решила обойти территорию турбазы, чтобы составить общее представление о ее расположении. И Марфа, и Марьяна увидели в этом решении Тани стремление оградить себя от нежелательного общества и остаться наедине с собой.

У Марфы мелькнула мысль о том, что Таню не следовало бы оставлять одну, и она решила, что настал подходящий момент, чтобы поговорить о ней с Мелюхиным.

Она оставила на несколько минут Марьяну и, войдя в соседний домик, в котором работали мужчины, подозвала к себе Мелюхина. Юра сразу же вышел к ней.

– Таня не способна на это, – заключил он, когда Марфа рассказала ему о своих наблюдениях за его женой. – Это абсурд.

– И все-таки, когда мы приземлились здесь, она не особенно обрадовалась этому... – заявила Марфа.

– Ее обморок связан с испугом, – заверил Марфу Мелюхин. – Поверь, я знаю Таню. Она любит жизнь. И она давно приняла свой недуг и смирилась с ним.

– Если бы я была такой, как она, – сказала Марфа, – и ты бы оставил меня, я бы не смогла смириться с этим...

Мелюхин не ответил на эти слова Марфы, а, на миг опустив свой задумчивый взгляд, он вновь поднял его на Марфу, притянул ее к себе и обнял так, будто хотел успокоить. Марфа обвила его пояс руками, прижимаясь к его груди.

Однако, несмотря на убежденность Мелюхина, Марфа все же решила тайком проследить за Таней. Пройдя за дома и углубившись в парк, Марфа увидела Таню на одной из дорожек. Та не заметила ее – она медленно шла по поросшей травой и усыпанной сухими сосновыми иголками тротуарной плитке, отрешенно глядя вперед и, казалось, совершенно не замечая того, что происходит вокруг. С минуту Марфа наблюдала за фигурой Тани, что мелькала между соснами. Убедившись в бесхитростности намерений Тани, Марфа вернулась к Марьяне.

Начался дождь. Поспешно отодвинув от просветов в крыше диван и кресло, Марфа и Марьяна встали у раскрытой двери домика и смотрели теперь, как серые ленты дождя хлещут по стволам деревьев и дорожкам, по стенам домишек и крышам. Все вокруг шипело ровным гулом, поглощая все другие звуки.

Внезапно из соседнего домика выбежал человек, в котором Марфа узнала Мелюхина. Бегом он пересек пространство, которое отделяло его от дома, у входа в который стояли девушки. Марфа и Марьяна посторонились, пропуская его внутрь.

– Вит сказал, что в такую погоду спасательный вертолет не полетит за нами, – сообщил Мелюхин известие, полученное им от пилота. – Плохая видимость и слишком сильный ветер...

– И что нам теперь делать? – напряженно спросила у него Марьяна.

– Когда ветер немного стихнет, спасатели смогут долететь до нас, – ответил Мелюхин.

– А если такая погода будет всю неделю?

– Нет, – отрицательно и уверенно покачал головой Мелюхин. – Вит сказал, что такое бывает здесь, и ничего страшного в этом нет. Сегодня-завтра все успокоится.

– Интересно, они знали прогноз погоды, когда намечали на вчерашний день подобный тур? – произнесла Марфа, озадаченно приподнимая брови.

– Вчера погода была нормальной для полета, – заметил Мелюхин.

– Однако мы все-таки оказались здесь, – ответила Марфа.

Дождь продолжался все утро. Только к полудню он несколько затих, а потом и вовсе прекратился, будто кто-то вдруг перекрыл кран. Однако взамен дождя склоны гор обволокло безветрием и туманом, похожим на замершие в пространстве дождевые капли.

Почти все это время Марфа, как и остальные члены группы, провела в домике, где Лев и Мелюхин растопили печь, применив для этого найденные девушками в административном корпусе фрагменты деревянной мебели, а также обнаруженную газету. Пока Мелюхин растапливал печь, Марфа сидела рядом с ним, подавая ему газетные листы. Она бегло просматривала заголовки статей: об отряде кораблей Тихоокеанского флота, отправившемся в Аденский залив на борьбу с пиратами, о массовых беспорядках в Иране, о чемпионате Европы по футболу, о саммите ШОС и встрече лидеров БРИК... Скоро эти заголовки заглатывали огненные гусеницы, превращая события прошлого в пепел, что исчезал в оранжевых языках пламени.

Таня сидела на принесенном в домишко стуле и смотрела, как огонь в печи то разгорался сильнее, то угасал, набегая на отсыревшие бруски. Дождь застал ее в парке, так что, пока она дошла на своих искалеченных ногах до домиков, она успела изрядно промокнуть. Мелюхин облачил жену в свою толстовку, а ноги ее он поставил к самой печи, чтобы тепло от нее как можно быстрее согрело ее. Таня спокойно принимала проявляемую им заботу, не отвергая ее, но и не благодаря за нее. Наблюдение за тем, как Мелюхин с заметным беспокойством крутится вокруг жены, уязвило Марфу, и она постаралась как можно реже смотреть в их сторону, однако взгляд ее сам собой тянулся к ним.

Когда же Мелюхин вновь занялся растопкой печи, Марфа под села к нему и, с ожидающим вниманием бросая на него короткие взгляды, время от времени улыбалась ему, ненароком поглядывая на Таню. Но та ни разу не взглянула на них, а даже сомкнула свои веки, будто

погрузившись в забытие. Лицо ее теперь было удивительно спокойным, на щеках появился румянец от непривычно быстрого шага и жара растопленной печи, а уголки губ больше не вздрагивали ни в необъяснимом веселье, ни в непостижимом отчаянии. Лицо ее вновь было необычайно красивым, невинным, чистым, и Марфа вдруг подумала, что Мелюхин не сможет оставить ее. Несмотря на чувство уверенности в верности своего выбора, она все же не могла постичь того, как можно было оставить такой красоты женщину. Что бы ни говорил Мелюхин о ее нервозности и о своей жалости к ней, Таню нельзя было не любить, и мысль об этом угнетала Марфу.

В порыве удрученной ревности и сомнения, Марфа коснулась руки Мелюхина, обращая его внимание на себя, а когда он обратил к ней свой взгляд, многозначительно посмотрела на него, поднялась и направилась к выходу. Мелюхин, бросив в огонь последний обрывок газеты, закрыл топочную дверцу и последовал за ней.

Марфа прошла в домик с проломленной крышей, с которой на дощатый пол ручьем текла вода. Она знала, что сюда никто сейчас не пойдет. Дождавшись Мелюхина, она захлопнула входную дверь и тут же приникла к нему.

Мелюхин обнял Марфу, прижимая свои ладони к ее пояснице и лопаткам. Он поцеловал ее мокрыми от дождя губами во влажный лоб. Закрыв глаза, Марфа подалась к этим губам, уткнувшись носом в шершавый подбородок Мелюхина. Она прижималась к нему так, словно хотела быть с ним одним целым, неделимым, будто он мог вдруг иссякнуть, как этот дождь, превратиться в дымку, пелену, туман, ускользнуть от нее. А Мелюхин отвечал на ее объятия, покрывая ее лицо неторопливыми поцелуями.

Это проявление их увлеченности, короткое, отхваченное у времени и присвоенное себе на краткий миг, казалось Марфе наводненным самыми выразительными и значительными выражениями, на которые была способна страсть. Она радовалась этим мгновеньям, чувствуя неизмеримый подъем и убежденность в справедливости и безошибочности итога ее душевных скитаний.

Марфа хотела сказать что-то, но не находила, что можно было бы сказать. Молчал и Мелюхин, продолжая то прижимать к груди Марфу, то поглаживать ее по голове, плечам и спине, иногда отстраняясь от нее, чтобы поцеловать ее или коснуться своей щекой ее щеки. Так стояли они в растерянном напряжении потерянных слов, уверяясь в справедливости суждения о бесполезности и ненужности изречений, которые едва ли могли бы выразить то, что выказывали ласковые прикосновения.

Когда Марфа и Мелюхин вышли из домика, дождь уже кончился. В домишке с растопленной печью был организован обед. Таня приязненно улыбнулась мужу, когда он, войдя вместе с Марфой в комнату, подошел к жене и, склонившись к ней, спросил ее о ее самочувствии. Теперь, отметив этот жест заботливости Мелюхина по отношению к жене, Марфа не испытала ревности: Мелюхин только был добросердечен с женой, испытывая страстное влечение к другой.

Пока мужчины перетаскивали мебель из домика с проломленной крышей в соседний невредимый домишко с функционирующей печью, которую также растапливал теперь Мелюхин, Марфа с Марьяной решили вскрыть последний оставшийся домик, который они не успели обследовать по причине дождя, что низвергнулся с неба. Вскрыв отсыревшую дверь, девушки вошли в темную комнату. Ставни на окнах были закрыты, и свет серыми полосами проникал внутрь, разрезая скрипучий пол на десяток узких пластин.

В комнате стояла кровать с высокой спинкой и разобранными плитами из прессованной древесной стружки на месте матраца, низкий комод и пуф, оставленный рядом с ним. Обведя взглядом комнату и окинув ее точечным светом фонарика, Марьяна только безучастно пожала плечами, отметив этим бесполезность обнаруженных в домике предметов.

Марфа попросила у Марьяны фонарик и, подойдя к комоду, открыла верхний ящик. Он оказался пуст.

– Можно мне посмотреть? – раздался заинтересованный голос со стороны входа.

Марфа и Марьяна одновременно обернулись к Тане, которая, опираясь на трость, неслышно ступая по пыльному полу, вошла в комнату. На ней все еще была толстовка ее мужа, которая, благодаря пышным формам Тани, не смотрелась на ней излишне широкой.

Марфа отступила на шаг от комода, тем самым показывая, что она не возражает. Подойдя к ней, Таня взяла из ее рук фонарик и благодарно ей улыбнулась. Марфа не ответила на эту улыбку, про себя отметив в глазах Тани беспокойное любопытство.

Таня поочередно выдвигала все ящики, освещала их светом фонарика и, не находя в них ничего, кроме пыли, с усилием задвигала обратно. Чтобы выдвинуть два нижних ящика, Тане требовалось изогнуться так, как изогнуться она никак не могла, и она опустилась на колени на самый пол, положив трость рядом с собой. Эта настойчивость обнаружить что-то в комодке удивила как Марфу, так и Марьяну, однако обе объяснили себе неуклонность Тани как желание проявить участие во всеобщем благоустройстве временного пристанища.

Оба нижних ящика также оказались пустыми, и Таня, сидевшая на коленях у комода, подняла голову и посмотрела на Марфу с бесхитростным сожалением и, как будто извиняясь, произнесла:

– Пусто.

Глядя на Таню сверху вниз, Марфа находила ее лицо совсем еще детским. Марфа не спрашивала у Мелюхина, сколько лет его жене: когда Таня распускала свои пышные волосы и надевала облегающее алое платье, ей можно было дать около двадцати пяти лет; когда же она облачалась в свободный спортивный костюм, в каком была сейчас, собирала волосы в неуклюжий пучок, а на лицо не наносила и грамма косметики, ей нельзя было дать и двадцати. Так и теперь она казалась Марфе совсем еще девочкой, затерявшейся в сплетении отчаянной страсти двух людей.

Марфа помогла Тане подняться. Руки у Тани, вопреки всей объемности ее груди и бедер, были изящны и худы, в отличие от рук самой Марфы. Все эти наблюдения заставляли Марфу чувствовать себя слишком несовершенной, уже утратившей юность женщиной, стремящейся соревноваться в прелести молодости с той, которая, даже будучи изуродованной своим недугом, оставалась в тысячу раз прекрасней, чем она. В Тане, несмотря на испытания, которым подвергла ее жизнь, все еще была жива юность, которой Марфа уже давно не чувствовала в себе. И даже такое долгожданное, всем сердцем желанное внимание Мелюхина не могло вернуть ей абсолютного, безотносительного ощущения молодости, которое рождает в душе надежду.

Отняв свою руку от руки Тани, Марфа нагнулась за ее тростью. Взгляд Марфы, случайно брошенный на одну из кроватных ножек, встретил возле нее две скрещенные на полу тени. Вручив Тане ее трость, Марфа сделала шаг к кровати и извлекла из-под нее две деревянные китайские палочки, какими обычно закалывают волосы. Каждую палочку венчал фигурный наконечник в форме перевернутого конуса. Палочки были расписаны причудливым узором, который не повредили ни сырость, ни время. Обернув палочки к свету, сочившемуся из раскрытой двери дома, Марфа без особенного энтузиазма, но все же с некоторой заинтересованностью рассмотрела их.

– Должно быть, ручная работа... – отметила Марьяна, подходя к Марфе и оценивающе глядя на палочки. – Я видела подобные в сувенирной лавке. Они довольно-таки дорогие.

– Но кто-то про них забыл, – проронила Марфа отчужденно.

– Может быть, туда еще что-нибудь закатилось? – предположила Марьяна, опускаясь на колени и заглядывая под кровать.

Сначала она только безмолвно вглядывалась в просвет между кроватью и полом, потом выпрямилась и обратилась к Марфе:

– Дай мне, пожалуйста, фонарик.

Марфа подошла к Марьяне и протянула ей фонарик, опускаясь на пол рядом с ней.

Вернувшись в исходное положение, но теперь сжимая в левой руке фонарик, Марьяна наклонилась к самому полу и потянулась правой рукой к чему-то. Белый свет фонарика отбрасывал узкий бугорок на досках пола. Через несколько мгновений Марьяна выпрямилась и представила взорам подошедших Марфы и Тани несколько фотографических снимков.

На одной из фотографий были запечатлены молодой человек и девушка, застывшие в одной из позиций аргентинского танго. Голова девушки была повернута к мужчине, одновременно загораживая половину его лица, так что невозможно было рассмотреть лиц обоих. Однако фигуры их, подтянутые, напряженные и в то же время свободные в этой неумолимой темпераментности танца, выражали истинное влечение, самозабвение и экстаз, восторженно поглотивший их.

С другого снимка девушкам улыбалась женщина лет тридцати, темноглазая, с черными короткими пушистыми волосами, собранными на висках, и широкими скулами. Снимок был черно-белым, а на обороте ровным изящным почерком с завитушками было написано: «Мама любит тебя».

На третьем же снимке были, как показалось Марфе, все те же молодой человек и девушка, что и на первом, только как будто значительно моложе, или же просто выглядевшие так, потому как не было в них азартной страстности и самозабвенного экстаза: они также были запечатлены вполоборота; молодой человек приподнимал темноволосую девушку за пояс, а та залившись смеем, откинув голову назад. Прямые волосы девушки были распущены, и только на самой ее макушке темнел неаккуратный маленький пучок, заколотый этими самыми китайскими палочками.

Окинув взглядом фотографии, которые Марьяна рассматривала с особой внимательностью, Марфа не глядя оперлась ладонью на узкую боковую панель кровати, чтобы подняться, и тут же вопросительно уставилась на нее, нащупав кончиком указательного пальца уголок бумажного листка.

Марфа потянула за уголок – из тесного отверстия между двумя панелями показался небольшой прямоугольный листок для заметок, исписанный ровным, округлым почерком. Когда листок был извлечен из отверстия, возле самых ног Марфы послышался шуршащий шлепок: из просвета между панелями на пол упала стопка исписанных прямоугольных листков. Марьяна оторвала взгляд от фотографий и вонзилась им в эту стопку.

Подняв с пола листы, Марфа подставила под свет фонарика Марьяны первый листок.

«Я не выполняю данных себе обещаний. Прошое мое бессмысленно, а в будущем я не вижу себя. Приехать в такую даль для того, чтобы забыться, на деле же встретившись лицом к лицу с самою собой...»

– Кто-то забыл дома дневник и решил записывать перед сном мысли на стикер, – заключила Марьяна, про себя, как и Марфа, прочитав первые строки записки.

Таня стояла за спиной Марфы и без особого интереса заглядывала в листок через ее плечо.

Марфа, Марьяна и Таня вышли на улицу, чтобы получше рассмотреть фотографии и записки. Некоторое время ни одна из них не произносила ни слова.

– Куда девать теперь эти фотографии? – спросила Марьяна, нарушая затянувшееся молчание.

– Думаю, нужно отдать их проводнику, – сказала Таня. – Может быть, найдется их хозяйка. Я могу это сделать, – предложила она, с кроткой готовностью глядя на Марьяну.

Та передала фотографии Тане, которая бережно приняла их, еще раз взглянув на них ни о чем не говорящим мягким взглядом.

Про записки же упомянуто не было, и они так и остались в кармане спортивной толстовки Марфы.

Она подумала об этой своей находке только спустя некоторое время. Утро, серое, пасмурное, угрюмое, перешло в такой же тусклый и хмурый день, который вылился в сумрачный вечер. Дождя больше не было, однако на улице все же оседали на куртку и лицо мелкие капли тумана, который одним густым облаком накрыл, казалось, весь мир. В домишках же, в которых были растоплены печи, было сухо и тепло. Во всех членах группы уже несколько успокоилось неутомимое ожидание скорого возвращения в «Яшму», и все как будто приняли свое положение как нечто временное и стали только терпеливо дожидаться его разрешения.

Взобравшись с ногами в перенесенное в отапливаемый домик кресло и положив рядом с собой коробок спичек, Марфа извлекла из кармана записки. Их было по меньшей мере около сотни. Записи были сделаны на достаточно плотной белой бумаге для заметок, без самоклеящейся ленты. Марфа не имела привычки читать чужие дневники и письма, однако эти записки пролежали здесь не меньше нескольких лет и никем не были найдены – значит, для их хозяйки они не имели особой ценности, заключила Марфа.

Смысл слов, прочитанных ею вместе с Марьяной и Таней на первом листке, разразился в ней приглушенным эхом. Запись эта была сделана женщиной, совершенно отчаявшейся в этой жизни. Писала она торопливо (об этом говорили размашистость ее почерка и неровность пляшущих строк), в порыве глубокого разочарования надавливая стержнем ручки на листы так, что поверхность их была рифленой, повторяя каждый изгиб выведенных букв. Однако, несмотря на заметную торопливость письма, буквы эти были округлы, четки, почти каллиграфически выведены.

Лист, на котором были запечатлены бессмысленность прошлого и неясность будущего, не являлся первым листом этого наспех составленного дневника: он был вырван из середины. Такое заключение сделала Марфа, прочитав в свете зажженной спички первую надпись на верхнем листе стопки: «Сегодня четырнадцатое июня – первый день моего пребывания на туристической базе "Аполлинария", куда я приехала по настоятельному совету врача, который счел проявляемую мной повышенную нервную возбудимость за признак неврастения и рекомендовал мне провести три недели на Алтае, куда сам он так любит ездить, считая пребывание в условиях нетронутой природы лекарством от всех болезней. Едва ли лекарство это могло бы излечить мой недуг, но дальше оставаться в городе, отнявшем у меня мою жизнь, я не могла...» Это были первые слова того исступленного порыва мыслей, которые были впоследствии заключены на небольших плотных листках. Отложив первый обнаруженный листок, Марфа решила просмотреть надпись на последнем листке, как делала это всегда, когда начинала читать новую книгу: прочитав первый абзац первой главы, она открывала последнюю страницу книги, чтобы прочесть последнее предложение. Это ее действие было обязательным атрибутом прочтения каждого нового романа: оно как будто позволяло ей мысленно обозначить границы предстоящего действия.

Марфа зажгла новую спичку и вынула из ничем не скрепленной стопки последний листок. На нем, в отличие от первых, сплошь исписанных прыгающим почерком листков, было ровно выведено:

«Она отдала мне ключ. При этом она выглядела очень счастливой. Я не приняла его. Сегодня она исчезла – многие говорят о преступлении. Самодельный конверт с ключом, который так отчаянно она хотела отдать мне вчера, выпал из открытой мною утром входной двери. На турбазе сначала поднялся переполох, а теперь все успокоилось. Наверное, они не хотят поднимать шумиху, опасаясь, что базу закроют. Я хотела бы как можно скорее уехать отсюда...»

Марфа потушила спичку, потому что огонек, скатившийся к самым ее пальцам, стал обжигать их. В домике она была одна: Марьяна вместе с Максимом отправилась к обнаруженному Таней в парке источнику воды, что бойкой струйкой вытекал из медвежьих лап скульптуры; Мелюхин и Лев, с которым он довольно легко нашел общий язык, пошли на обследование территории за пределами базы – скорее для того, чтобы не сидеть на месте. В соседнем домике осталась Таня в обществе пилота и проводника, которые уже не проводили неотрывно часы ожидания в вертолете в надежде на чудо обнаружения связи, а изредка все же отходили от него.

Когда огонек спички потух, Марфа не сразу зажгла следующую. Некоторое время она задумчиво сжимала исписанные листки, размышляя над прочитанными на последнем из листков словами, пробудившими в ней интерес, который так редко что вызывало в ней. Она думала о той девушке, которая была запечатлена на фотоснимках, о причинах ее отчаяния и о последней ее записи, полной страха и растерянности. Пока Марфа раздумывала, прочитать ли ей еще несколько последних листков или же начать читать записи девушки с самого начала, предполагая, что, быть может, и вовсе не надо их читать, чтобы не утруждать себя излишними впечатлениями и ненужными переживаниями, комната вдруг озарилась белым электрическим светом включенного фонарика. Марфа вздрогнула, потому как не слышала, чтобы кто-нибудь вошел в дом. Она рывком обернулась на свет, который тут же ослепил ее, не позволяя разглядеть держащего фонарик. Сердце на мгновение замерло в ее груди.

– Прости, что испугала... – произнес уже слышанный ею где-то женский голос, но Марфа никак не могла сразу угадать, кому он принадлежал. Только когда рука, держащая фонарик, направила его свет к потолку, Марфа узнала в представшей перед ней во мраке фигуре Таню. Марфа откинулась на спинку кресла, испустив облегченный и в то же время раздосадованный вздох.

Таня сделала несколько шагов по направлению к Марфе. Теперь Марфа слышала легкий шелест почти неслышных шагов Тани и слабое постукивание ее трости по деревянному полу.

На долю секунды Таня остановилась, потом повернулась, прошла к разложенному дивану и опустилась на него, неслышно и легко. Марфа зажгла новую спичку, не обращая внимания на действия Тани. Однако в ней все же появилась некоторая скованность от ее присутствия, не позволявшая ей продолжить чтение записей, и Марфа, держа в руках спичку, рассеянно взглянула на стопку листков у себя в руках, отвернулась от нее и обратила свой взор на окно, за которым среди ряда сосновых стволов просматривалось едва освещенное окно соседнего домика.

– Что там написано? – спросила Таня, и когда Марфа коротко обернулась к ней, то Таня кивнула на листки у Марфы в руках.

Марфа неопределенно повела головой.

– Что на базе пропала женщина, – произнесла Марфа едва слышно, неохотно.

– Пропала женщина? – переспросила Таня. – Поэтому базу закрыли?

– Здесь только предполагается закрытие базы по этой причине, – сказала Марфа, отрывисто приподняв листки. – Можно показать эти записи проводнику и спросить обо всем у нее.

– Да, наверное, – кивнула Таня, по-видимому не слишком заинтересованная сообщением о возможной причине закрытия турбазы.

Вновь наступила пауза. Марфу тяготило присутствие в комнате Тани, а от белого света фонарика, который Таня держала в руках, у нее заболела голова. В тот момент Марфа испытала чувство преимущества, главенства – быть может, потому, что в сумерках она не могла ясно видеть лица Тани, различая только ее искаженные ноги. Она ощущала себя старше и опытнее Тани, и теперь это ощущение не навевало на нее тоску по чему-то навсегда ушедшему от нее – напротив, она чувствовала себя основательно и неколебимо расположившейся на ложе своей жизни.

Марфа потушила спичку и намеревалась подняться с кресла, когда Таня опередила это ее действие словами:

– Я хотела поговорить с тобой.

Марфа замерла, опустошенно посмотрев на Таню.

– О чем? – спросила она ее.

Таня не отвела своего прямого взгляда от Марфы.

– Я хотела сказать тебе, что я не пытаюсь удержать Юру и не стану делать этого, – произнесла Таня так спокойно, что Марфа была немало удивлена не столько этими неожиданными словами, сколько тоном голоса жены Мелюхина. – Юра всегда стремится угодить всем, чтобы все были довольны и никто не был обижен. Пожалуйста, не ставь перед ним выбор – для него мучительны всякие дилеммы. Я уже давно предлагаю ему развестись, – призналась Таня, виновато улыбнувшись, – но он почему-то отказывается, хотя мы уже давно чужие друг другу люди. – Таня сделала паузу и спустя несколько мгновений с расстановкой проговорила: – Я заметила твою неприязнь ко мне. Скорее всего, она объясняется наличием штампа в паспорте Юры и моем. Если причина в этом, то хочу тебя заверить в его недействительности и обманчивости. Юра совершенно свободен в своих действиях.

Сказав это, Таня поднялась. Несколько мгновений она еще стояла у дивана, ожидая, быть может, ответа Марфы. Но Марфа ничего не ответила Тане, озадаченная этим неожиданным признанием, которое почему-то не вызвало в ее душе радости и чувства освобождения. И Таня ушла, едва слышно постукивая тростью по дощатому полу домика, который с ее уходом вновь погрузился во тьму.

Х

– Сюда запрещено привозить туристов, – сказала проводник осторожно и в то же время решительно. Члены группы собрались у вертолета, к которому вновь вернулись проводник и пилот. Любопытство всех было распалено обнаружением фотографий и записей, которые, несомненно, должны были представлять для кого-то ценность, но которые были легкомысленно оставлены под кроватью на пыльном полу, – а также содержанием записки, в которой говорилось о преступлении, совершенном на турбазе. Интерес этот подогревался еще и тем, что заняться в ожидании прибытия спасателей членам группы было, собственно, нечем, и умы всех ухватились за разгадку тайны этого опрометчивого поступка по отношению к фотографиям и особенно – к записям, обнаружению которых в любое другое время никто не придал бы особого значения.

Произнеся эти четыре слова, которые внесли оживление в ряд туристов, проводник растерянно посмотрела на пилота, будто ища в нем поддержку. Пилот стоял рядом с ней, скрестив на груди руки, и, встретив взгляд проводника, опустил руки, откашлялся и произнес:

– Пять лет назад здесь пропала группа людей: шесть постояльцев, охранник, шеф-повар и два его помощника, два официанта, бармен и администратор. Раз в неделю на базу приезжали несколько уборщиц и дворников. И вот однажды они приехали сюда и никого здесь не нашли. Люди просто бесследно исчезли отсюда. Базу на некоторое время закрыли, началось следствие. Но никто из пропавших так и не был найден. Спустя несколько месяцев турбазу снова открыли, но она не пользовалась особым спросом. Хозяин пытался продать базу, но ничего не получилось. Так она была закрыта окончательно и скоро пришла в запустение.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.